

The background of the cover is a painting. It shows a hand in a white sleeve resting on a golden, bowl-shaped object. To the left, there is a red, textured shape, possibly a hat or a piece of clothing, with a yellow trim. The overall style is painterly and somewhat somber.

АННА ГУМЕРОВА  
*и*  
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВА

# АНГЕЛ МОЙ, ВЕРА

*роман*

Анна Гумерова  
**Ангел мой, Вера**

«Никея»

2022

УДК 242  
ББК 86.372

**Гумерова А. Л.**

Ангел мой, Вера / А. Л. Гумерова — «Никея», 2022

ISBN 978-5-907457-22-5

Роман Анны Гумеровой и Валентины Сергеевой «Ангел мой, Вера» повествует о хорошо знакомых многим читателям исторических событиях – от блистательной эпохи после нашей победы в войне 1812 года до декабрьского восстания 1825 года и его долгих и значительных последствий, глубоко повлиявших на русскую историю и культуру. В романе эти события раскрыты через призму семейной истории. Перед читателем разворачиваются отношения Веры и Артамона Муравьевых – отношения, полные любви, нежности и трагизма. Живые сильные характеры, убедительность и богатство исторических и бытовых деталей, замечательный русский язык делают чтение интересным для широкой аудитории.

УДК 242  
ББК 86.372

ISBN 978-5-907457-22-5

© Гумерова А. Л., 2022  
© Никея, 2022

# Содержание

От авторов	6
Часть 1	7
Глава 1	8
Глава 2	19
Глава 3	26
Глава 4	33
Глава 5	38
Глава 6	43
Глава 7	51
Глава 8	57
Глава 9	65
Глава 10	68
Глава 11	72
Конец ознакомительного фрагмента.	79

# **Анна Гумерова, Валентина Сергеева**

## **Ангел мой, Вера**

© Гумерова А.Л., 2022

© Сергеева В.С., 2022

© ООО ТД «Никея», 2022

## От авторов

Художественный мир романа «Ангел мой, Вера» сложился из творческого вымысла и документальных материалов. В книге цитируются следующие архивные документы:

На с. 86–87 и с. 320 – письмо матери Веры Муравьевой, Матрены Ивановны Горяиновой (НИОР РГБ, ф. 218, № 461–2, л. 1–6).

На с. 316 – альбом Веры Муравьевой (ИРЛИ, р. I, оп. 17, № 459).

На с. 413 – родословная Муравьевых, сделанная Александром Артамоновичем Муравьевым (НИОР РГБ, ф. 218, № 462(1), 1 л.).

На с. 422–423 – письма М.К. Юшневской (ГАРФ, ф. 1463, оп. 2, № 687).

Кроме этого, мы приводим несколько писем из книги: А.З. Муравьев. Письма / изд. подгот. Т.Г. Любарской. Иркутск: Иркутский музей декабристов, 2010. 528 с. – (Серия «Полярная звезда»).

Главы 26–28 построены на материалах следственного дела Артамона Муравьева (Восстание декабристов. Документы.

Т.ХI. М.: Госполитиздат, 1954. С. 91–132).

Некоторые письма в книге вымышленны.

Мы хотим поблагодарить тех, без кого эта книга не была бы написана: Наталию Соколову, Марию Лифанову, Екатерину Лебедеву, Евгению Шувалову, Раису Добкач, Юлию Морозову – за вдохновение, материалы, неоценимые советы и сведения по историческим реалиям, помощь в архивной работе и поддержку.

*Анна Гумерова, Валентина Сергеева*

*Там за островом, там за садом  
Разве мы не встретимся взглядом  
Не выдавших казни очей,  
Разве ты мне не скажешь снова  
Победившее смерть слово  
И разгадку жизни моей?*

*Л. Ахматова*

## Часть 1

*Не спасешься от доли кровавой,  
Что земным предназначила твердь.  
Но молчи: несравненное право –  
Самому выбирать свою смерть.*

*Н. Гумилев*



## Глава 1

Ранней осенью 1817 года у полковника Александра Николаевича Муравьева, в Шефском доме Хамовнических казарм, было шумно, людно и весело, как всегда бывает в холостых офицерских квартирах, у студентов и у людей, живущих «артистически». Табачный дым облаками висел под потолком. Кому не хватило места на диване и в креслах, присаживались на подоконники, облакачивались на стол, а то и просто, сыскав себе собеседника, ходили под руку из комнаты в комнату. Спорили, спорили до головокружения, до ссор, иногда бестолково, то со смехом, то с раздражением, то замирая от собственной дерзости – но каждому было что сказать, и разговор не прерывался ни на минуту. Здесь перебивали самозванных ораторов, противоречили сами себе и всё равно друг друга понимали. Как только умолкал один, вступал следующий – задорно и уверенно.

Были все бесстрашны и молоды – никого старше двадцати шести лет. Все одинаково презирали плавное течение светских бесед, и у всех, невзирая на разницу лиц, одинаковым ясным светом горели глаза, как всегда бывает у разумных и равнодушных молодых людей, захваченных общим движением. С вероятностью немало интересных типов нашел бы в квартире полковника Муравьева внимательный художник. Тот, глядишь, весь подался вперед, опершись коленом на сиденье стула, то ли от желания возразить, то ли просто от усиленного внимания; у того, любителя обличений, язвительная, злая улыбка на губах вот-вот рассыплется смехом или криво, как шрам, взбежит на щеку; тот от волнения бледен, рот приоткрыт, как у школьника; те сидят обнявшись и отвечают противникам дружно – Орест и Пилад! – а через пять минут, быть может, рассорятся «навечно» (то есть на весь вечер) и мрачно сядут порознь. Сброшенные от духоты мундиры, распахнутые воротники, заалевшие щеки, непрерывно дымящие трубки, выражения порой уж очень не парламентские – не собрание парадных портретов, а сплошь стремительные зарисовки. И разговоры, Боже мой, что за разговоры!

– Новгородское вече...

– Тоже и Москва.

– Вы истории не знаете, и я вам это докажу. Москва всегда была оплотом единовластия.

– Господа, примеров надо искать не в отечественной истории... отечественная история – болото.

– А это уж и не патриотично.

– Зато логично.

– История – не математика.

– Не пустословь, тебе не идет.

– Господа! Господа!.. Дайте договорить. Саша, будь добр, не кричи мне на ухо. В отечественной истории мы не найдем ни одного положительного примера... господа, я патриот, но на Европу надо смотреть, на Европу!

– Уж посмотрели. Через оконце, спасибо Петру Великому.

– В тринадцатом-то году и через двери глянули.

– Не понравилось, а, князь?

– Наше оконце – европейские книги, сочинения... Говорят – армия невежественна, армия груба, а в гвардейской казарме меж тем Руссо читали.

– Мы-то, может быть, и заглянули... Нас – сколько? Сотни... А остальным доведется ли? Кто смотрит сквозь венецианское стекло, а кто и в щелочку.

– Мы смотрим вольно, а страна лежит в невежестве и даже не сознает, что живет по-скотски.

– Полно – не сознает! То-то до сих пор запрещено поминать не только Пугачева, но и его неповинное семейство – кексгольмских узников...

– Разве мы здесь – страна? Мы горсточка счастливых... Несправедливо. А беремся судить.

– По своему образованию и положению имеем право.

– Смирения, князь.

– Я возражаю! Смирение губит государство.

– Мать любит дочь.

– Ну и глупо.

– Ты уж не предлагаешь ли сапожника сажать в министры только за то, что он сапожник?

– Во Франции попробовали. Простонародный бунт порождает сперва море крови, потом непросвещенных правителей из черни, потом опять тиранов. Un circle vicieux<sup>1</sup>.

– Ты говоришь – Петр Великий. А что Петр? Хорош пример... Наплодил чиновников. До сих пор видим неблагоприятные последствия его правления, и нет им конца-краю. Фаворитизм...

– Ну, это уж общее злоупотребление государей.

– Господа, дайте мне сказать, я уж полчаса слова прошу!

Через час тесный кружок, сплошь спины и локти, вплотную облепил стол, за которым с пером в руках стоял Никита Муравьев, и молча слушал. Все полнились тем восторгом, который не осмеливается даже прорываться смехом. Здесь, на их глазах, творилось что-то необыкновенное. Хотя оно и походило на обычные молодые проказы против «стариков» и «обскурантов», но уже далеко выдавалось за их рамки.

– Слушайте, слушайте! Кто в субботу идет на бал к N.? Чур, вести себя, как договорились!

– Иначе из компании вон. Не трусить!

– Ну так слушайте. «Постановлено: идущим в субботу к N. всячески говорить против злоупотреблений вообще и синекур в особенности, также обличать жестокость дворян в отношении их крепостных слуг... нота-бене: тут рассказать об госпоже Ф., убившей утюгом свою крепостную горничную. Еще высмеивать и унижать тех, кто занимает свои места не по заслугам».

– Здесь, господа, надо тонко... без бретерства. Никитушка, это уж по твоей части.

– И не танцевать.

– Это уж само собой. В конце концов, это просто пошло.

– Отчего же пошло? – спросил молодой франтоватый кавалергард, видимо впервые оказавшийся в гостях у полковника Муравьева.

Ему добродушно, как новичку, объяснили:

– Оттого что глупо идти в большое собрание и тратить время на танцы, заместо просвещения многих умов. Мы уж не дети, чтоб в обществе думать только о развлечениях.

– Еще, господа, давайте порешим – с дамами разговаривать или нет?

– Я считаю, разговаривать. Дамы могут способствовать распространению идей.

– Полно, они для того не довольно развиты.

– Если вы имеете в виду московских тетюшек, которые заняты только варкой варенья, то вы правы. Но есть же и просвещенные женщины, которых невозможно исключать.

– Хорошо, записываю, – сказал Никита. – «Разговаривать также и с просвещенными женщинами, могущими способствовать распространению идей».

– Как же вы предлагаете отличать просвещенных женщин от непросвещенных? Ежели она читает романы – просвещена она или нет?

– Или знает из геометрии и астрономии.

– Покажите мне женщину, которая изучает геометрию не для ловли женихов, а по искреннему влечению ума, и я сей же миг готов на ней жениться.

---

<sup>1</sup> Порочный круг (*фр.*). – Здесь и далее все примечания составлены авторами.

Молодой кавалергард, явившийся в это общество со своим кузеном, Никитой Муравьевым, только успевал повертываться на все стороны, чтоб ничего не упустить и всё услышать. Огорчало его лишь то, что самому ему до сих пор не удалось сказать решительно ничего интересного. Ненадолго окружающие заинтересовались его персоной, когда услышали, что штабс-капитан Артамон Муравьев с юности стремился усовершенствоваться в медицине. Ему довелось отпустить несколько удачных замечаний касательно того, к какой области относится лекарское дело – к человеколюбию или же к общественному хозяйству... но и только. Воодушевленный присутствием кузена и прочих родичей – милого «муравейника», – он попробовал было заново завязать разговор о себе, но не имел никакого успеха и удостоился лишь пренебрежительных взглядов.

Артамону вдруг стало стыдно перед всеми этими умными людьми, к которым он никак не мог найти подступа. Желая хотя бы посмешить компанию, он принялся рассказывать, как в десятом году они, молодежь, дразнили хозяина дома его масонством и выдумывали всякие нелепицы о «черных масках», занимающихся-де истреблением масонов... и опять промахнулся. Анекдот был признан неудачным, и сам Александр Николаевич даже обиделся слегка за такое напоминание. Бедняга кавалергард окончательно растерялся. Заслышав пущенное кем-то вполголоса замечание насчет «армейского фата», он некоторое время размышлял, принять на свой счет или нет, но решил философски пренебречь.

Двадцатитрехлетний штабс-капитан с некоторой досадой сознавал, что немного о нем покамест можно было сказать за пределами сухих строчек служебного формуляра: «Артамон Захарьев сын Муравьев 1-й, из российских дворян, в военной службе с 1811 года». Блестящая карьера, отличия, близость ко двору, сиятельное родство – все отчего-то меркло, когда он сравнивал себя с родичами. За те же годы, проведенные в армии, они каким-то непостижимым для него образом успели усовершенствоваться не только в военных науках, но и в области философии, политики и общественной морали... «Неужели ж у меня эти семь лет пропали даром? – размышлял он. – Как, однако, они бойки, как рассуждают... а у меня словно язык подвязан! А ведь в десятом году и я умел поговорить не хуже их. Решат теперь, что я надут и неумен... А Сережа-то, Сережа! Мальчик был наивный, во Франции родился и вырос, в Россию приехал, не зная слова „моуѝк“, а теперь поглядите, как его слушают!»

– Что, снова республика Чока в сборе? – с улыбкой спросил между тем Матвей Муравьев у Никиты, доканчивавшего записку. – Иных уж не узнать...

– Были мальчики – стали мужи. На войне взрослеют быстро.

– А я, признаться, приятно удивлен, что Артамон свое тогдашнее увлечение не бросил, – заметил Александр Николаевич. – Авось окажется серьезнее, чем можно подумать. Ничего, он малый славный, честный... отполируется еще. Болтлив немного... весь в отца, тот, бывало, врал без просыпу.

– Не злословь, Саша, нехорошо за глаза.

– Матвей – добрая душа. А свитская карьера все-таки многих портит.

– Так это Захара Матвеича сын? – спросил кто-то из-за плеча. – То-то я гляжу и думаю, на кого похож...

Артамон, словно догадавшись, что говорят о нем, подошел к друзьям.

– Что, дети мои? Вспоминаете бывлые каверзы? Ты, Александр Николаевич, за масонов не сердись, я не со зла... да и не я один, вон и Матвей со мной трунил. А ты, Serge, отроду смеялся надо всеми без разбору, тебе и Чока смешна казалась! А я же вот не обижаюсь...

– Что такое Чока? – спросил кто-то.

– А это мои любезные родственники, вот эти молодцы, еще будучи в университете, придумали себе игру – бежать на остров Чока, сиречь на Сахалин, и там основать вольную республику, – смеясь, ответил Сергей Муравьев. – Впрочем, так до сих пор и не бежали.

– И здесь дел немало.

– Благословенна страна, где дети хотя бы играют в республику.

– За неимением гербовой... Однако ж дети выросли, а великих перемен покуда не вижу.

Артамон меж тем взволнованно обводил их взглядом, ища самого добродушного, и весь подавался вперед, как гончая собака, – видно, хотел что-то сказать, но никак не мог. Наконец он решился и воскликнул:

– Послушайте, братцы... дайте и мне какое-нибудь поручение! Говорить противу злоупотреблений и вообще... Ведь это же черт знает как славно, что вы делаете. Давно пора расшевелить...

– Гм... а как ты сам для себя это понимаешь? – лукаво поинтересовался Никита.

– Я, признаться, покуда еще не все понимаю, – честно ответил Артамон. – Но вы правы, совершенно правы! Я и сам порассказать бы мог, господа... ведь иные люнет от барбета не отличат, а туда же – в чины, потому что, глядишь, сват или брат. Я, господа, понимаю, что я сам шурин Канкрина, а потому мне неловко говорить, – поспешно добавил он.

– Люнет, барбет – это всё хорошо... однако ж – и только?

– Чего же больше?

– А какого ты мнения о конституционной форме правления? – строго спросил Александр Николаевич, словно экзаменовал кадета.

– погоди, ты не так спрашиваешь, – перебил Сергей. – Скажи, Артамон, какую форму правления ты считаешь наилучшей?

Артамон покраснел – от неожиданного вопроса, от пристального внимания серьезных и насмешливых родичей, – но ответил, не задумываясь:

– Республику.

Поздно ночью он, вернувшись к себе, ошаршил жившего с ним в одном номере брата вопросом: «Какую форму правления ты считаешь наилучшей?!» – и завалился спать. Офицерам, занимавшим квартиры в Шефском доме, пришлось потесниться, когда из Петербурга в Москву на празднование пятилетней годовщины прибыла гвардия. В номерах жили по двое и по трое и было шумнее обычного. Где-то хлопала дверь и скрипели половицы, где-то продолжался кутеж, за стенкою смеялись и говорили о танцовщицах и букетах. Несмотря на усталость, сон не шел – от разговоров, от радости, от выпитой жженки кружилась голова, хотелось еще рассуждать, спорить... Тут же, разумеется, на ум толпой пришли удачные и остроумные ответы, которые следовало дать прежде. «Ничего! – утешал себя Артамон. – В следующий раз буду умнее, не растеряюсь».

Он рывком сел.

– Саша, а Саша!

Молчание.

– Какой ты все-таки, братец, равнодушный. Однако жарко. Я на полу лягу, слышишь? Не спотыкнись утром.

– Шляешься по гостям, потом спать не даешь, – пожаловался Александр Захарович.

– Я уж нынче как-нибудь, по-походному. Брось-ка мне подушку.

– Благодарю покорно, а я же с чем останусь?

Артамон, впрочем, уже забыв про подушку, принялся сооружать на полу ложе из одеяла и шинели.

– Шинель подстелю, шинель в головах положу, шинелью накроюсь. «Дай, солдатик, мне одну!» – «Да у меня всего одна», – пошутил он.

Не спалось, впрочем, и так, и Артамон уселся на окно – курить и думать.

В чем именно были правы Александр Николаевич, Никита, Сергей и прочие, Артамон вряд ли сумел бы сказать. Но, будучи человеком, у которого ни ум, ни силы не истощались до конца службой и развлечениями, он считал необходимым что-то делать – делать вообще, лишь бы не сидеть сложа руки. Менять, переворачивать... почему бы и не на благо общества?

Пускай об «обществе» и его «благе» представления у Артамона были самые смутные, он не сомневался, что нужно только упорней и смелей налегать – и стена рухнет... Какая стена, куда она рухнет и что кроется за ней – не все ли равно? Артамону всякое общественное служение рисовалось непременно в героическом духе, как на войне – но война прошла, подвиги минули вместе с нею, и великих свершений, как заметил Сергей Муравьев, что-то не было видно.

Артамона судьба щедро наделила качеством, которое высоко ценится в любой компании, как только его распробуют, а именно способностью искренно заражаться чужим делом. Потому-то, в отсутствие по-настоящему близких друзей, у него всегда было множество приятелей. Энергичный, добродушный, неистребимо веселый, тут он затевал кутеж, там собирал компанию в театр, того участливо выслушивал, другого ссужал деньгами, третьего потешал анекдотами. Душа нараспашку, славный малый, честный – Александр Николаевич сказал именно то, что говорили об Артамоне все. Были в этом свои достоинства, были и недостатки: его равно любили и cousin Михаил Лунин, язва и умница, и пустынький семнадцатилетний юнкер Зарядько, с которым Артамон иногда сходил за картами. Может быть, пресловутая судьба нехорошо подшутила над ним, пустив Муравьева 1-го по военной стезе, когда следовало бы сделать его врачом или провинциальным актером...

– Скажи, Никита, – допытывался он два дня спустя, сойдясь с кузеном на дворе Шефского дома, – чего вы вообще хотите? Злоупотребления, казнокрадство, невежество, жестокость и прочие уродства – это всё верно, выступать против них нужно и должно, это прямой долг благородного человека... но что же вы делать предлагаете? На балах да в собраниях говорить – иной раз послушают, а иной раз скандал сделаешь, чего доброго, и выведут.

Никита задумался, ответил не сразу, словно примеряясь.

– Наше первое дело – нравственное самосовершенствование, – наконец сказал он. – Второе – собирание вокруг себя круга благородных людей, сходным образом мыслящих. Вместе уже сделать можно многое... Но первое и главное – начать с себя, не делать самому того, в чем упрекаешь свет. Не быть праздным, не упускать случаев пополнить свое образование, быть полезным обществу, отказаться от пустого тщеславия, от высокомерия. Иными словами, признавать лишь те преимущества, которые даются умом, а не богатством и протекцией.

– Это я очень понимаю... это хорошо! – Артамон от избытка чувств сильно сжал руку Никиты и несколько раз ее встряхнул. – Честное слово, я всей душой готов участвовать, только б вы меня серьезно приняли. Да, так... нравственное усовершенствование. Часом, ты меня не в масоны ли совращаешь?

– И ты еще обещаешься быть серьезным? – резко спросил Никита.

– Ну прости, голубчик... пошутил опять. В масоны так в масоны. Я с вами готов хоть в огонь. Право, уж и улыбнуться нельзя. Не понимаю, Никита, что за удовольствие вечно быть таким положительным, точно ты десятью годами старше меня.

– А я не понимаю, что за удовольствие вечно скалить зубы, точно ты малолетний.

– Полно, Никита, я тоже могу быть серьезным... вот увидишь! Хочешь на пари?

– Час от часу не легче! – Кузен наконец не удержал улыбку. – Смех и грех с тобой, Артамон. Разве так дела делаются? Ты вот слышал, о чем мы у Александра говорили, а сам давеча был на бале в собрании – небось только и делал, что отплясывал?

– Отчего же, – смущенно ответил Артамон. – Я пренебрегал.

– Знаю я, как ты пренебрегал...

– Нет, Никита, я искренне, от всей души. Неужели ты мне не веришь?

– Посмотрим... Вообще говоря, чем менее ты будешь жить светской жизнью, тем лучше. Ты, говорят, читаешь много – это хорошо. А прогос, ты ведь с Сергеем Горяиновым вместе служишь? Дружны вы?

– Так, приятельствуем. Кто в гвардии кому не друг? Он, однако, предобрый малый.

– Я у его отца коляску торгую, зван сегодня поглядеть, а заодно в гости. Чует мое сердце, показывать, главным образом, будут не коляску, а дочек. Составь компанию, всё веселей. Провинциалы, но неглупы, кажется, – из молодежи, быть может, выйдет толк.

Старший Горяинов, Алексей Алексеевич, бывший вологодский губернатор, и его супруга Матрена Ивановна и впрямь были провинциалами, причем особого склада. Такие люди истовы и непримиримы; они твердо уверены, что, во-первых, Москва лучше Питера, а во-вторых, деревня все-таки лучше, чем Москва. Старшие Горяиновы были убеждены, что в городе, конечно, удобнее мостовые и больше магазинов, но этим и исчерпываются его достоинства. В конце концов, прожить можно и без мостовых и магазинов – была охота ездить! – а вот сыскать истинное благообразие воздуха и кротость нравов ни за что не удастся ближе чем в ста верстах от Москвы.

Матрена Ивановна последние пятнадцать лет не бывала ни в театрах, ни в концертах и не испытывала к тому ни малейшего желания. «Захочу музыки, так мне дочери на фортепианах поиграют, а оперы ваши шумны больно, и ни слова не разберешь, что поют», – жаловалась она. Супруга отставного губернатора и в Москве жила, как в Вологде: варила на зиму варенье, которое непременно плесневело и отправлялось в людскую, водила на заднем дворе индийских уток, читывала сонник и заставляла сенных девушек заплетать волосы в две тугие косы, чтоб было видно, чиста ли шея. Алексей Алексеевич считался в семье большим остряком, поругивал вольнодумцев и украдкой от жены читал новейшие романы. Оба, впрочем, давали детям изрядную свободу и вовсе не стремились перекроить их на свой лад. «Что ж, неужто я не понимаю, – со вздохом говаривала Матрена Ивановна. – Нужно так нужно».

Правда, представления о том, что нужно, у родителей были довольно-таки фантастические. Молодые Горяиновы учились всему без разбору и, как правило, рано выпархивали из семейного гнезда... Всего детей у Горяиновых было двенадцать человек – две девочки умерли в детстве, сын Александр погиб в тринадцатом году, восемнадцати лет от роду. В семье его чтили как героя. Мать не снимая носила медальон с прядью младенческих волос, а в гостиной висел его портрет в возрасте десяти лет, в рубашечке с отложным воротником, – более позднего не успели сделать.

Горяиновская молодежь представлена была тремя лицами – девицами Любинькой и Сашенькой, еще не успевшими «выпорхнуть», и сыном Владимиром, недавно получившим прапорщика. За столом сидели также старшая дочь Софья, приехавшая погостить с мужем, и сын Алексей, отставной подполковник. Между старшими и младшими, как-то неопределенно, приходилась вторая дочь, Вера Алексеевна. Очевидно, она уже приближалась к возрасту, который называют «опасным», и родители отвели ей место то ли гувернантки, то ли компаньонки при младших дочерях. Никита (показалось Артамону) так и не понял, как к ней относиться – как к молодой девице или как к взрослой особе, а потому предпочел попросту не замечать.

Вера Алексеевна была не оцененная красавица, во всяком случае, не из тех, что привлекают общее внимание с первого взгляда. Но лицо у нее было нежное, милое и тонкое, взгляд больших темных глаз ласковый и внимательный. Самая невысокая из сестер, даже миниатюрная, она напоминала Артамону виденные им во Франции средневековые статуи, с их хрупкими, чуть болезненными формами, удлинненными лицами и вечными удивленными полуулыбками, едва намеченными на губах. Артамона посадили рядом с Верой Алексеевной, и некоторое время он рассматривал ее изящную руку с тонкими синими жилками, прикидывая, с чего бы начать разговор. Сидеть молча было и глупо и невежливо. Но всякий раз, когда он собирался спросить, бывает ли она в театре и намерена ли кататься в этом сезоне на коньках, Вера Алексеевна, явно пытаясь приободрить соседа, слегка улыбалась, и у Артамона слова безнадежно замирали на губах. Сидеть рядом с этим хрупким и красивым существом и не говорить ни слова было мучительно, но еще мучительнее было думать, что он может сказать глупость и опозориться. Разговор с ней требовал какого-то особенного начала, вместо пошлых слов о театрах

и погоде. Артамон уже совсем собрался спросить: «Что вы читали нынче?» – но вовремя спохватился, что это вопрос тоже пошлый, фатовской, который обыкновенно задают мужчины, желающие щегольнуть умом. «А вдруг она назовет что-нибудь этакое, о чем я и не слышал? Выйдет конфуз...»

– Я, ваше пр-во, не устаю удивляться на варварство некоторых наших обычаев, – говорил между тем Никита, обращаясь как будто к хозяину дома, но имея в виду явно молодежь, которая слушала его, наострив уши. – Разворачиваешь с утра газету и читаешь: «Отпускается в услужение малый лет 17, там же даются в аренду мебели». Каково! Воистину, нет пределов низости скудоумного человека, а в нашем отечестве всякая низость достигает еще какой-то особой изощренности... Браним мы американцев, но и они, кажется, не додумались до того, чтоб низводить своих рабов даже не до уровня скота, а до уровня неодоушенных «мебелей».

– Рассказывают, при дворе однажды персидский посланник пожелал купить двух дам, которые приглянулись ему на бале... хе-хе... – заметил г-н Горяинов. – Отказали! Россия, мол, не Персия...

– Полно врать-то! – оборвала Матрена Ивановна. – Никита Михайлыч дело говорит. Помню, у нас в Вологде был один поручик – как его, Никишин? Никитин? да напослани, Алексей Алексеич! – скудоумен был, это верно, жил на одно жалованье, земли ни пяди. Так он покупал людей по дешевке, обучал да продавал в рекруты. Сам обучал, изволите видеть, пуще собак дрессировал, и маршировке, и барабанному бою, и прочему... страшно, бывало, мимо его двора-то ездить! Сам кричит, аж хрипит со злости...

– Что вы, маменька, о каких-то ужасах, – потупившись, сказала Любинька.

– А! ужасах. Поживи-ка с таким двор об двор – очумеешь. Это вы, Никита Михайлыч, голубчик, верно: кому Бог ума не дал, так вот и живут, прости Господи, беса тешат да соседей попусту беспокоят.

– Есть еще другое всем известное обыкновение, – продолжал Никита, прикусив губу и внимательно взглянув на молодежь, – брать людей во двор, развращать их, воспитывать в лакействе, отучая от полезного труда. И об этом также говорят открыто, не стыдясь. Из землепашцев делают гайдуков, шутов, живые игрушки, надсмотрщиков над своими же братьями-крестьянами... Детей малолетних, часто восьми или девяти лет, поселяют в грязную переднюю, поручая их воспитание людям грубым и жестоким, – вот где настоящие ужасы, ваше пр-во... зато как мы озабочены тем, чтоб, упаси Боже, борзому щенку не отдавили лапу. Стоять, как статуи, с трубкой или стаканом и быть свидетелем отвратительных барских нравов – хорошо воспитание! В Англии, говорят, существует подлинное рабство, возмущающее всех просвещенных людей. Оно заключается в том, что маленьких детей, едва научившихся ползать, отдают в ученики к трубочистам, и дети эти, больные и непоправимо искалеченные, редко доживают до двенадцати лет. Но, по крайности, они делают нужную работу... и все-таки это называется рабством и зверством! Как же следует назвать то, что в обычае у нас? И как воспитается человек, у которого лучшие, самые живые годы ушли на подавание платка да беганье с трубкой? Уж верно, он не вернется в деревню, чтоб убирать скотину и есть тюрю с квасом – об отце-мужике он будет думать с презрением и стараться только, чтоб поменьше сработать и послаще поесть, имея всегда перед глазами пример своего барина...

В непритворном гневе Никита, с его живым и выразительным лицом, становился подлинно величествен... В обыкновенное время легко смущавшийся, он усилием воли подавлял свою застенчивость и заставлял себя говорить отчетливо и прочувствованно, но не слишком горячо, без лишней жестикюляции. В этом неуклонном внутреннем руководстве собою и впрямь было нечто героическое. Все собравшиеся за столом, не исключая и Артамона, наблюдали за ним с волнением и некоторым трепетом. Когда Никита своей небольшой красивой рукой, словно вспорхнувшей со скатерти, показал «маленького ребенка, вот такого», Любинька Горяинова потупилась, а Матрена Ивановна промокнула глаза шалью...

– Воспитаньем, убеждением или силой, но расторгать узы между родителями и детьми бесчеловечно, – негромко, однако с сильнейшим убеждением вдруг произнес Артамон.

Вышло это неожиданно кстати и прозвучало так хорошо, что Никита даже оглянулся на кузена и одобрительно кивнул.

– Что было бы, если бы ваши сыновья, ваше пр-во, были бы от вас отняты и решением их судьбы занимались бы чужие, холодные люди? (При этих словах Матрена Ивановна вновь приложила к глазам уголок шали. Артамон хотел здесь тоже сделать рукой красивый жест, как Никита, но раздумал.) Я уж не говорю о дочерях – этого наверняка не выдержало бы ваше сердце. Мне трудно судить... мой отец сам владеет людьми, он бывает строг, но я уважаю его как человека, который не умножает чужого горя. Не можешь быть причиной добра – не твори и зла, я так понимаю... а пуще всего совершенствуйся и старайся быть полезен, – добавил он, украдкой взглянув на Никиту.

Вера Алексеевна проследила его взгляд и с улыбкой спросила:

– А сами вы как думаете?

– Это полностью и мое мнение, – вспыхнув, отвечал Артамон. – Не думайте, что раз я говорю улыбаясь, то настроен легкомысленно.

– Верно, – подтвердил Никита.

– Вы сказали – совершенствуйся и старайся быть полезен. Но в чем, по-вашему, надлежит совершенствоваться? – спросила Вера Алексеевна и внимательно взглянула на него.

Артамон как будто немного растерялся, но все-таки ответил:

– Я так рассуждаю: старайся больше любить ближнего и делай то, к чему тебя обязывает честь. Вы знаете, я читал из истории, как рыцари присягали своим сеньорам, обещая быть верными – но только если послушание не вынудит их поступиться честью. Честь была для них выше верности...

– Je comprends<sup>2</sup>... Люби ближнего и послушествоуй старшим, – с легким разочарованием сказала Вера Алексеевна. – Уж больно на пропись похоже. Неужели вам, мужчинам, так трудно блюсти свою честь, что об этом нужно говорить особо?

– Это трудно, Вера Алексеевна, очень трудно! – с неожиданной горячностью возразил Артамон. – Только вы не смейтесь... но вообразите себе: тысяча мелочей, и нет ясного мерила! Мой кузен Michel – Михайла Лунин, вы, быть может, о нем слышали... человек чести, прекрасный человек! я его люблю, как родного брата, – он вызывал к барьеру за неловкое слово, за косой взгляд, почитая свою честь затронутой. А вот Никита живет совершенно иначе – он не обращает внимания на всякие пустяки и не ищет стычек...

– Я был бы тебе весьма обязан, если б ты мне позволил рекомендоваться самому, – заметил Никита.

– Однако же порой пренебречь этими пустяками – значит попасть в неприятнейшее положение, – произнес Владимир Горяинов. – Еще трусом назовут.

Перейдя в гостиную, заговорили о дуэлях. Никита горячо утверждал, что допускать сомнений в своей порядочности не следует, но, однако же, дурно опускаться до неразборчивого бретерства и ездить на дуэли, как в собрание, для развлечения. Алексей Горяинов-сын возражал, что всякие «мальчишки», штатские особенно, привыкли видеть в отказах от дуэли слабость, а потому «никакого уважения не будет». Горяинов-старший порывался поведать о давнишней своей дуэли с поручиком Несвицким из-за какой-то m-lle Рамон, но был в самом начале остановлен Матреной Ивановной. Артамон сперва поддержал Никиту, а потом сам признался, что в четырнадцатом году, в Париже, в одном небольшом собрании, чуть не вызвал своего сослуживца переведаться на саблях из-за того, что тот залил ему мундир вином. Иными словами, в гостиной было весело.

---

<sup>2</sup> Я понимаю (фр.).

Артамон более уж не возобновлял разговора о совершенстве, но рядом с Верой Алексеевной, видимо, чувствовал себя покойнее и не боялся испортить впечатления. Впрочем, слушать его было занятно; окружающие смеялись не умолкая. Дар наблюдательности у него был развит сильно: он очень верно, на смеси французского с немецким, представил ссору эльзасских крестьян, потом еврея-часовщика, потом принялся рассказывать, как во Франции ловят певчих птиц. «Я в каком-то героическом рассказе вычитал – изображено, как соловей поет: „Fier, fier, osez, osez“<sup>3</sup>. По-моему, так это нарочно выдуманно. Вера Алексеевна, а по-вашему, на что похоже? У нас няня говорила, соловей поет: „Чего надо, старичок, чего надо, старичок?“ – а бонна по-другому: „Je t’aime, je t’aime, toi, toi!“<sup>4</sup>».

Матрена Ивановна слушала разговоры молодежи и благосклонно улыбалась.

Возвращаясь от Горяиновых, Артамон зазвал Никиту ночевать к себе (брат Александр Захарович куда-то зван был в гости). Ему не терпелось узнать, какое кузен составил мнение о нем, да заодно и проверить свое впечатление.

– Ну что, Никита, прошел я испытание?

Никита смерил родственника задумчивым взглядом.

– Ты, кажется, искренен и умеешь заражать... думаю, ты можешь быть нам весьма полезен. Однако ж каковы провинциалы! глупы как пробки. Все без исключений, даже и молодые. Пожалуй, дальше ездить к ним – только время терять. Закормят, заласкают и всё смотрят, как бараны. Ты там хорошо сказал, про честь выше присяги... а им и это как с гуся вода! Пожалуй, только в конце тон немного испортил, когда пустился в любезности, а так с отличной стороны себя выказал.

– Как по-твоему, я ерунды не наврал?

– Пустое...

– Ну, может быть, не ерунды, а что-нибудь такое неловкое.

– Это когда ты мелким бесом разливался? Перед той... перед старшей?

– Перед Верой Алексеевной.

– Старая дева...

– Вера Алексеевна и в сорок будет хороша! – обиделся Артамон.

Никита рассмеялся:

– Ну, Артамон, жди теперь, покуда ей стукнет сорок! Не знаю, право, если и сболтнул чего, так не все ли тебе равно? Будешь сегодня у наших?

– Буду.

– Рассказать, как ты перед барышней соловья изображал, так ведь животики надорвут.

Артамон сорвался с места:

– Никита, ну вот это уж будет свинство!.. Не вздумай, не то я с тобой вовсе рассорюсь. Черт знает что... имей совесть, в конце концов!

– Убедил, убедил, не шуми.

Спустя два дня Сергей Горяинов спросил у Артамона:

– Ты, говорят, был у моих? Что ж, старики пригласили бывать?

– Пригласили, – сдержанно ответил Артамон, умолчав, что бывать его пригласили не только «старики», но и Вера Алексеевна, которая на прощанье подала ему маленькую нежную руку и с ласковой улыбкой сказала: «Мы принимаем по четвергам».

Правда, при этих словах, от которых вдруг ухнуло сердце, был Никита. Значит, приглашение адресовалось и ему...

---

<sup>3</sup> «Отважный, дерзай» (фр.).

<sup>4</sup> «Я тебя люблю, я тебя люблю, тебя, тебя!» (фр.).

– Будем вместе ездить, всё веселей, – продолжал Горяинов. – Совсем манкировать как-то неловко. Вечера, признаться, у отца прескучные – всё старики-чиновники да разные тетушки... хорошо еще, если Володя друзей приведет.

– А пропос<sup>5</sup>... – Артамон вдруг замаялся. – Как так вышло, Сережа, что Вера Алексеевна, при ее внешних и умственных качествах, до сих пор не замужем?

Сергей поморщился:

– Тут, понимаешь, такое дело... в двенадцатом году у ней жениха убили при Бородине – ну, не то чтобы жениха, предложения-то он сделать и не успел, но все-таки. А в тринадцатом погиб брат Саша – видал небось портрет? Сестрица три года носила траур, думала даже в монастырь идти. Время-то и ушло... уж двадцать семь стукнуло! – безжалостно добавил он.

Любинька и Сашенька Горяиновы не дождались в наступивший четверг своего «Чайлд Гарольда» – так они между собою прозвали Никиту Муравьева. Они разочарованно вздохнули, увидав, что «тот, другой» (то есть Артамон) приехал один. С досады, что в прошлый раз он почти не обратил на них внимания, они пришли к мнению, что Артамон Захарович – самый обыкновенный «армейский», каких много бывало в доме. Кроме Артамона Сергей привел с собой троих приятелей, но в тех не было никакой новизны и тем более загадки. Резвая Сашенька, выбежав в переднюю и застав там Артамона перед зеркалом, громко фыркнула и упорхнула.

– Наводи красоту, наводи... – Сергей зевнул. – Все равно ни одной хорошенькой не будет.

– Корнет, ты несправедлив к своим сестрам.

– За косы их дергал, а вот на-поди – писанные красавицы... Тебе которая больше нравится, Любинька или Сашенька? – с усмешкой спросил Сергей.

В гостиной до их появления было малоллюдно. Матрена Ивановна, в чепце и шали, другая пожилая дама и незнакомый офицер сидели за картами, два чиновника в вицмундирах благодушеествовали, расположившись в креслах подле хозяина. Любинька, Сашенька и еще одна девица, явно скучая, то перебирали клавиши рояля, то принимались листать альбом. Вера Алексеевна сидела в эркере с вышиванием, и Артамон, обойдя гостиную, подсел к ней. Прочая молодежь затеснилась вокруг рояля, и Любинька в четыре руки с одним из гостей, прапорщиком Белецким, заиграла «Битву под Прагой».

– А что, ядро из пушки верно летит с такой силой, что не спасешься? – спросила Сашенька, когда пьеса была окончена. Все взгляды обратились на молодых военных, девицы приготовились слушать.

– Говорят, в Смоленском сражении французский батальон потерял целый ряд в своем подразделении от одного-единственного ядра, – важно отвечал Белецкой. – А что ж, и ничего удивительного. Ядро имеет необыкновенную силу даже на земле. Я сам видел, как катившимся ядром ударило солдата так, что тот умер от ушиба. Впрочем, тут ведь кому как повезет. Одному нашему поручику ударило осколком в офицерский знак, прямо в середку, и не пробил, только вогнуло. Не рана, а царапина, пустяк.

– Страшно!

– Ничего... мы ядрам не кланялись. – Белецкой выразительно выпятил грудь. – Бывало, новичка даже осадят: «Чего зазря поклоны бьешь?» Если перелетит через головы – махнем вдогонку и скажем: «Привет нашим». А однажды, помню, сидим мы у костерка под сосной и никому за дровами идти неохота. Тут он как выпалит... солдаты, знаете, никогда не говорят «враг» или «неприятель», а всё *он*. Нас щепками обдало... глядим, вся верхушка сосны размолота. Вот, стало быть, и дрова.

---

<sup>5</sup> Кстати (*фр.*).

– Вы тоже воевали, Артамон Захарович? – Вера Алексеевна, сидя на своем месте, на мгновение подняла глаза от вышивки и тут же опустила голову – смотреть гостю в лицо было отчего-то неловко.

– Да, Вера Алексеевна. В двенадцатом году в Валахии начинал, у Чичагова... вот при Бородине не был, не довелось.

Артамон Захарович вдруг оборвал фразу, словно ему не хватило дыхания.

– Белецкой, кажется, тоже не был. Он любит рассказывать про войну... а сестры любят слушать. Скажите, Артамон Захарович... в его рассказах есть правда? Нет, – прервала она сама себя. – Я не то хотела спросить, я не подозреваю Белецкого во лжи. В самом ли деле война похожа на героические рассказы?

Артамон шевельнул губами, словно намереваясь что-то сказать, может быть, даже и героическое, но потом молча покачал головой.

– Мой брат Александр погиб при Лютцене. Мой... – Вера Алексеевна вновь сосредоточилась на лепестке лилии, которую вышивала. – Мой близкий друг – при Бородине.

– Вера Алексеевна, я...

Казалось, Артамон хотел выразить соболезнование, опоздавшее на пять лет. Вера Алексеевна удивленно посмотрела на него. Как ни странно, громкий голос Белецкого вдруг сделался почти не слышным, совсем далеким... слышно только было, как Любинька разбирала новую пьесу. Чуть прозвенят первые такты мелодии, оборвутся на самой высокой ноте, и вновь с начала.

Ей удалось удержаться от слез. Вера Алексеевна подняла голову, чтобы взглянуть на портрет покойного брата, – и удивилась перемене в наружности Артамона Захаровича. В начале разговора он испугал ее своей бледностью, говорил словно через силу, и она боялась, что он нездоров или, быть может, получил горестное известие. Но сейчас его лицо словно ожило, и глаза стали ясными, как при первой встрече.

– Вера Алексеевна... – начал он и снова оборвался, словно хотел сказать что-то очень сложное, почти невообразимое. Она поощрила взглядом: «Говорите, можно». Тогда Артамон осмелился:

– Подарите мне вашу вышивку, когда закончите.

– Да я уж и закончила, – ответила она и вынула из рамки небольшую прямоугольную канву. – Из этого можно закладку сделать. Возьмите.

Он улыбнулся – радостно, как ребенок, – тихонько взял вышивку, с минуту молча, с необыкновенной нежностью во взгляде, рассматривал ее, а затем осторожно убрал в карман.

## Глава 2

– Князь Сергей пишет – в западных губерниях беспокойно, крестьяне волнуются... чего ждать, непонятно. Быть может, что и полного безначалия.

Никита говорил горько, вид у него был усталый, под глазами залегли тени... Артамон не в первый раз с удивлением наблюдал воочию, как тяжело даются иным серьезные раздумья и труды «на благо общества». О чем бы он сам ни думал – о том, что изменилось в России за время его трехлетнего пребывания во Франции, или о том, как жить дальше, стараясь быть полезным, во исполнение данного слова, или о возможных подвигах в духе римских времен, – ему было весело и легко от близости героев, о которых до сих пор он только читал. Никиту же вечно жгли и мучили какие-то сомнения... Артамон тогда впервые задумался: может быть, Никита и не хочет подвига, может быть, философичному кузену достаточно того, что он истязает планами и фантазиями разум, не решаясь подвергнуть риску плоть? Значит, дело за тем, кто не побоится рискнуть, дело за исполнителем...

Пожалуй, с самых ранних пор, с того дня, когда в детстве впервые рассказали ему о добродетелях Древнего Рима, слово «подвиг» неразрывно слилось в сознании Артамона со словами «родина» и «благо». В Москве, в кругу родичей и друзей, в детской игре в республику Чока, эти слова окончательно наполнились светом и смыслом. В глазах Никиты, Сережи, Матвея, Вани Якушкина, Саши Грибоедова, братьев Перовских видел он этот свет и этот смысл, который все они понимали одинаково. Какое счастье, когда дружба еще не знает разночтений!

На войне была смелость, были заслуги, геройство – но подвига с самоуничтожением и жертвой, того подвига, о котором сладко и страшно мечталось с детства, пожалуй что и не было...

В тот день на квартире у Артамона, где, кроме него, Никиты да Александра Николаевича, никого не было, разговор шел уже без обиняков.

– Я совсем не знаю, что было здесь в эти три года, – признался Артамон. – И чем вы жили в это время, тоже не знаю. Ты рассказываешь – и я понимаю, что в юности не знал и не видел ничего. До недавних пор я как будто спал. Мой отец добряк и хлебосол, каких много, высокие материи его не волнуют, рядом с ним я был надежно огражден от любых тяжелых впечатлений, а вы меня словно будите – будите и тревожите, говорите: открой глаза, посмотри...

– Злые, неумные, трусливые существа у власти. – Никита помолчал, устремив свои большие печальные глаза за окно, где желтел и осыпался старый клен. – Все заняты только одним – как бы сохранить свое место и наворовать побольше денег, и так снизу доверху. До самого верха... А если и вздумают совершить благое дело, то выходит черт знает что, потому что *everything is rotten in the state of Denmark*<sup>6</sup>. Князь Сергей пишет – императорская фамилия намерена, в случае если помещики воспротивятся указу об освобождении крестьян, бежать в Польшу и уж оттуда, из Варшавы, прислать указ. Это как?! Государь, намереваясь сделать добрый поступок, бежит из своей страны, трусливо, как изменник...

– Это подло, – громко сказал Артамон, и эхом как будто отозвалась вся комната.

– Подло, ты говоришь... и спрашиваешь, какова теперь российская жизнь, – произнес Александр Николаевич. – Суди же сам, какова она, если самодержец подает такой пример. Офицеры занимаются пьянством и развратом – ты не поверишь, как я рад, что ты побесился, а к ним не пристал. Солдаты забиты до полного отупения. Какой разительный упадок за пять лет! Чиновники развращены, простой народ доведен, кажется, до такого состояния, что и во Франции тридцать лет назад не видали...

---

<sup>6</sup> «Подгнило что-то в датском государстве» (из «Гамлета»; в пер. А. Радловой).

– Какие надежды были пять лет назад! – Никита в отчаянии стукнул кулаком по столу. – И вот опять болото. Артамон, понимаешь ты, я не могу так, не могу! Не могу барахтаться в кислом болоте, помня еще воздух свободы! Ведь казалось, всё можно, только люби Бога и будь справедлив; ведь мы своими глазами видели, как это бывает, видели людей счастливых, вольных, взыскующих... но любое искание гаснет там, где нет свободы дышать! И я не могу и не желаю быть тепел или холоден, не желаю и отказываюсь!

Он помолчал, прислонившись лбом к стеклу, потом тихо сказал:

– Горько мне и больно... прости. Странно тебе, что я так раскричался?

– Нет, что ты, Никита. Говори, ради Бога, никто и никогда со мной так не говорил.

Никита пристально взглянул на него... У Артамона разгорелись глаза, как у четырнадцатилетнего мальчика, он сидел на самом краешке кресла, словно вот-вот был готов сорваться с места. Прежде чем Никита успел произнести хоть слово, Артамон заговорил сам – взволнованно и хрипло:

– Помнишь, Сережа как-то сказал – «золото, огнем очищенное»? Не знаю, откуда он это взял... но ведь хорошо. Ведь так?

Никита удивленно взглянул на кузена.

– Да... пожалуй.

– Так послушай... – Артамон подошел к окну и встал рядом, повернувшись, чтобы видеть Александра Николаевича. – Если будет вам нужен человек, готовый порешить разом... проще сказать, готовый на всё... ты знаешь, где его сыскать. Я готов на такую жертву.

– Да ведь ты не только свою, ты и чужую жизнь в жертву принесешь, – слегка улыбаясь, заметил Александр Николаевич. – Ты в этом отдаешь ли себе отчет?

– Что ж, я готов... ведь я знаю, вы об этом тоже думаете – ты рассказывал про Якушкина... Так не довольно ли думать, не пора ли делать? Никита, Никита, я знаю, ты смеяться будешь... – Артамон стремительно заходил по комнате. – Скажешь: в обществе без году неделя, а уже с такими проектами... Я знаю, знаю, что примкнул к вам совсем недавно, многого еще не понимаю, и вы, в конце концов, имеете право мне не вполне доверять, но – братья! – может быть, это сама судьба распорядилась? Ведь я не боюсь, совершенно не боюсь...

– Да я не сомневаюсь, что ты не боишься.

Артамон крепко стиснул руку кузена.

– Никита, дай мне слово... я не шучу!.. дай мне слово, что, как только вы решитесь, ты непременно дашь мне знать.

– погоди ты, Артамон... – Тот ласково, но решительно усадил родича обратно в кресло. – Если вправду хочешь быть с нами, научись владеть собой. Ну, куда это годится – действовать впопыхах, как попало. Ты хотя бы представляешь себе, как это?

– Отчего же не представляю... и до нас бывали примеры. Кинжал, мне думается, верней всего. И сделать это надо непременно публично, например на бале. Кажется, и Жан Якушкин так говорил. Вы сами сказали: дурно таиться, затевая великие дела. – Артамон, говоря, переводил глаза с одного кузена на другого, словно и их приглашая вообразить те картины, которые вставали перед ним. – Пусть все знают, что это справедливый суд, возмездие... нет такого гражданина, который не имел бы права судить!

– *Archange de la mort*<sup>7</sup>... Не люблю Сен-Жюста. Террор и гильотина – именно то, чего в России допускать нельзя.

– Бог с ним, с Сен-Жюстом... так, к слову пришлось. Так что же, Никита, обещаешь? Как только вы решитесь действовать, хоть бы и в самое ближайшее время, я буду всецело к вашим услугам. Чем скорее, тем лучше...

Кузены переглянулись... им как будто стало неловко.

---

<sup>7</sup> Архангел смерти (*фр.*) – прозвище Луи Антуана де Сен-Жюста, деятеля Французской революции.

– А я тебе еще раз говорю, что такие дела не делаются наспех, – терпеливо повторил Никита, словно уговаривая разошедшегося ребенка. – Нанести решительный удар нетрудно – а что потом? Об этом ты подумал?

– Потом и видно будет.

Никита поднялся.

– Ты и сам, Артамон, когда успокоишься, возьмешь свой вызов обратно.

– Отчего же? – резко спросил тот. – Александр, а ты что скажешь? Ведь я же знаю, ты сам предложил бросать жребий, чтоб узнать, кому достанется это право, и без всякого жребия себя предложили Якушкин и Шаховской – мне рассказывал Матвей. Или вы мне доверяете гораздо меньше, чем им? Отчего? Ты меня извини, Никита, но, может быть... как бы это сказать... тебе самому решительности недостает?

Тот вскинулся, как от удара.

– Ты во мне не сомневайся, пожалуйста! Если будет надо, я сам возьму кинжал или пистолет. У меня рука не дрогнет!

Александр Николаевич вздохнул.

– Вот ты уж сразу и обиделся, cousin... Вызов твой делает тебе честь, и мы с Никитой не забудем о нем, когда понадобятся люди решительные. Но пойми, Артамон, одну вещь: безрассудно и невозможно предпринимать такой шаг при самом начале общества, когда ничего еще не готово. А потому смирись... и жди.

Проводив кузенов, Артамон, не в силах успокоиться, вытащил с полки книжку наугад и бросился в кресло. Книжка оказалась – «Дева озера» в немецком переводе. Артамон открыл, где выпало, пробежал взглядом страницу.

Я рыцарь твой! – он деве говорил.

Он отложил книгу и задумался...

«Ведь не может же Вера Алексеевна полюбить не героя». Артамон подумал это – и сам испугался. «Стало быть, я люблю ее? Если рядом с ней мне то холодно, то жарко, то хорошо, то страшно, если я готов ради нее на подвиг, даже на смерть, на ужасную жертву... стало быть, я ее люблю? Боже мой, и двух недель не прошло, а мы понимаем друг друга с полуслова. При последней встрече, казалось, ей довольно было взглянуть на меня, чтоб прочесть мои мысли. Господи, неужели так бывает? Ведь я люблю ее?»

– Да, – вслух ответил он сам себе и от нахлынувшего вдруг счастья рассмеялся в пустой комнате, глядя в окно. И, вспомнив, заложил страницу вышитой закладкой с белой лилией – подарком Веры Алексеевны.

Артамон продолжал бывать на четвергах у Горяиновых всю зиму. Алексей Алексеевич и Матрена Ивановна встречали его с понимающей, хоть и слегка встревоженной, улыбкой. Сашенька и Любинька глядели недоуменно и обиженно, уязвленные тем, что молодой кавалергард обратил внимание не на них, а на старшую сестру. Любинька платила Артамону исключительной холодностью, а Сашенька краснела всякий раз, когда он случайно взглядывал в ее сторону. Артамон, впрочем, ничего не замечал, ни холодности, ни румянца – даже если бы сестры ударили в литавры, он бы и то, пожалуй, удостоил их лишь рассеянным взглядом.

Никого, кроме Веры Алексеевны, для него не существовало. Быть с нею рядом, разговаривать, слушать, видеть ее, притрагиваться к руке при встрече и прощании стало для него жизненно необходимо. Сергею Горяинову, отпустившему как-то чересчур вольный намек, Артамон пригрозил рассориться навеки и умолил молчать. Товарищеских насмешек, а пуще того сальностей он бы не выдержал... немислимо было и подумать о том, чтобы вынести свою любовь на их суд. «Влюбился, как мальчишка юнкер, – порой поддразнивал он сам себя и тут

же оговаривался: – Вот и нет, мальчишка влюбился бы и остыл через неделю, и говорил бы всё о себе да о себе... влюбленные юнцы вообще страшные эгоисты!» – прибавлял он.

Артамон весьма гордился тем, что, примечая скуку или неудовольствие Веры Алексеевны, старался впредь не делать того, что вызывало у нее досаду, в особенности не говорить банальностей и не судить сторяча о том, что могло быть ей мило. Он уж раз обидел ее, неосторожно посмеявшись над стихами г-на Жуковского, да так, что они с час не разговаривали. Вера Алексеевна прочла «Голос с того света»; Артамон легкомысленно заметил: «И вновь мечты, грезы, привидения, всё то, чем Василий Андреич нас щедро потчует». Она рассердилась не на шутку... Но за первой ссорой последовало и первое примирение. Примірились они за чтением стихов – Артамон, к большой радости Веры Алексеевны, оказался довольно начитан, хотя и хаотически. Из отечественных читал он что попало и как попало, зато немецких и французских авторов помнил наизусть целыми страницами.

Он жалел, что нельзя было рассказать Никите этого и Александру Николаевичу – они бы наверняка всё поняли и не стали трунить, но, чего доброго, упрекнули бы его в забвении товарищества. Даже добрый Матвей мог пустить в ответ изрядную шпильку, а после этого, как казалось Артамону, сохранять дружеские отношения было бы неудобно. Радость приходилось носить в себе, боясь расплескать, но она ничуть не умалялась от того, что не с кем было ею поделиться.

Вера Алексеевна редко выезжала и только под Рождество согласилась ехать на вечер к N. Она совсем отвыкла от балов, от общения с почти незнакомыми мужчинами. Прежде, до войны, танцевала она лишь с теми, кого знала коротко, потом носила траур и только в последнее время вновь начала немного выезжать, не столько ради собственного удовольствия, сколько ради того, чтоб составить компанию сестрам. Внешность ее не бросалась в глаза; Вера Алексеевна, изящная, но не блистательная, не могла царить в бальной зале, и новизна ее появления в свете после трехлетнего перерыва успела несколько выветриться. В начале вечера она протанцевала раз с каким-то пожилым чиновником, а дальше сидела рядом со старшей сестрой и ласково улыбалась знакомым.

София Алексеевна охотно проводила вечера за картами, не следила за модой, в тридцать лет с улыбкой называла себя «старухой» и в скором времени, вероятно, должна была превратиться в точную копию матери. Впрочем, Вере Алексеевне было с ней хорошо. Когда Sophie не жаловалась на здоровье и хлопоты, то становилась весела и остра на язык, как в ранней юности, когда они, возвращаясь с детского бала, с удовольствием разбирали своих кавалеров. Каждому Sophie давала забавное и меткое прозвище – Bebe<sup>8</sup>, Монумент, Петрушка... и теперь, склонившись к сестре, Вера Алексеевна шепотом напомнила ей о прежней забаве. Когда в залу вошло знакомое семейство, состоявшее из долговязых девиц, за которыми по пятам шли столь же худые папенька с маменькой, Sophie с улыбкой шепнула:

– Ивиковы журавли... Вера, а вон и твой гренадер!

Вера Алексеевна перевела взгляд. Рядом с ее братом действительно стоял Артамон и наблюдал за ней веселыми темными глазами.

– Он не гренадер вовсе.

– Я знаю, это его Сашенька прозвала. Сейчас трусить перестанет... подойдет... пригласит... – сдерживая смех, проказливо шептала София Алексеевна.

– Sophie, перестань.

– Хочешь пари? Вот, вот, идет уже...

Артамон поклонился сестрам.

– Вера Алексеевна, вы окажете мне честь протанцевать со мной?

---

<sup>8</sup> Малыш (*фр.*).

Она немного испугалась... вальс она танцевала редко и уже почти совсем решила отказаться, но подходящего предлога сразу придумать не удалось. И Артамон смотрел с такой радостью и надеждой, что Вере Алексеевне не достало сил для отказа – и тут же самой стало легко и радостно. Рассерженная почти беззвучным смехом сестры, которая, скрывая улыбку, часто-часто обмахивалась веером, она подала Артамону руку и как будто впервые заметила, что головой едва достает ему до плеча. Вера Алексеевна вспомнила: «Гренадер» – и улыбнулась сама, глядя в ласковые, лучившиеся смехом ей навстречу темные глаза.

Танцевать с Артамоном было необычайно легко. Несмотря на рост и крупное сложение, двигался он ловко и держал свою даму бережно, почти неощутимо, однако надежно, не подходя слишком близко и не отстраняясь далеко, не внушая ни неловкости, ни скуки. Вера Алексеевна боялась, что придется разговаривать – на лету, в танце, совсем иначе, чем в гостиной, – но он молчал и внимательно смотрел на нее. Первоначальное смущение ушло, она не чувала пола под ногами... не сразу даже почувствовала, что с непривычки у нее кружится голова. Должно быть, лицо ее выдало – Артамон прокружил Веру Алексеевну в последний раз и подвел к прежнему месту, держа все так же бережно и крепко, словно боясь отпустить и потерять.

– Вы позволите еще пригласить вас?

Она кивнула. Артамон нерешительно оглянулся, словно раздумывал, не отойти ли – но не отошел. Оглянулся опять...

– Вы ищете кого-то? – спросила Вера Алексеевна.

Он решительно мотнул головой.

– Нет.

Артамон слегка покривил душой: он опасался встретить здесь Никиту или еще кого-нибудь из знакомых по бурным совещаниям в Шефском доме. Он сознавал, что совершенно не оправдал оказанное ему доверие, и вел себя самым легкомысленным образом, вместо того чтобы мыслить и рассуждать серьезно, но отчего-то разговор *a la Nikita* с Верой Алексеевной не клеился. Артамон никак не мог избавиться от мысли, что их разговоры о войне, о стихах, о друзьях юности серьезны ничуть не менее, чем политические беседы. Мысль просвещать Веру Алексеевну не приходила ему в голову. Что Вера Алексеевна умна – во всяком случае, умнее его, – он признал с самого начала, признал спокойно и с восхищением. Быть с женщиной, которая выше его во многих отношениях, казалось Артамону исключительным счастьем, подарком судьбы... Подле нее ему не хотелось выказываться умом или спорить, достаточно было просто сидеть рядом и слушать.

– Скажите, Вера Алексеевна... вы помните ли, о чем говорил Никита тогда?

– Отчего вы вдруг об этом вспомнили?

– Так... интересно стало, как вы об этом рассуждаете.

Вера Алексеевна задумалась.

– Что я могу сказать? У меня меньше возможностей для наблюдения, чем у вас и у вашего кузена. Мое мнение таково, что в мире есть много зол, которые невозможно истребить человеческими усилиями. Но в свое время они, по воле Провидения, самым простым и легким способом исправятся. Ход жизни на каждом шагу оставляет в прошлом какое-нибудь несомненное зло...

Никита и Александр Николаевич, пожалуй, сейчас разочаровались бы в нем!

Они с Верой Алексеевной и еще танцевали, и разговаривали, почти не отходя друг от друга весь вечер и не смущаясь любопытных взглядов Софии Алексеевны. Когда гости стали разъезжаться, Артамон в передней, улучив минуту, подлетел к Сергею Горяинову.

– Сережа, ради Бога, уговори Веру Алексеевну сесть в санки. Соври что-нибудь, скажи, что в карете места нет.

– Ты, стало быть, хочешь, чтоб она обратно с тобой ехала?

– С нами, Сережа – как можно!

Сергей с сомнением оглянулся.

– Я, признаться, думал как-нибудь так устроить, чтоб с Мари Чельшевой ехать...

– Сережа, голубчик, умоляю – составь мое счастье! Я, в конце концов, как старший имею право... А я тебе за это добуду билеты в оперу на весь сезон, будешь сидеть и любоваться на Мари.

– А билеты какие? – подозрительно спросил Сергей.

– Ясно, что не в раек! Хоть в ложу, хоть в кресла... Поскорей, корнет, они уж выходят! Я на улице буду ждать...

Сергей, мысленно кляня приятеля, подошел к одевавшейся сестре.

– Послушай, Вера, маменька просила передать, что обещалась в карету на твое место посадить Варвару Петровну. Так уж ты, пожалуй, поезжай со мной.

И, едва услышав согласие, торопливо, почти бегом, повлек ее на улицу. Вера Алексеевна, в удивлении, не успела даже оглянуться на мать.

Санки стояли у подъезда... Заметив в них второго человека, она остановилась в нерешительности, но тут Артамон протянул руку и крикнул: «Вера Алексеевна, садитесь!» Бог весть что успело пронестись в голове Веры Алексеевны в эту секунду. Стремительный уход, похожий на похищение, встревожил ее, но возбуждение, вызванное балом, и нетерпеливый шепот брата, твердившего: «Ну же, Вера, садись скорей», и улыбка Артамона, и его протянутая рука – все это было так необыкновенно и радостно, что она подчинилась... Сергей накрыл ей ноги полстью, вскочил сам, велел: «Трогай!» – и сел рядом с Артамоном на переднее сиденье, напротив сестры.

– Поезжай кругом, через мост, – негромко велел Артамон, чтоб Вера Алексеевна не услышала, и вновь обернулся к ней. Она сидела уставшая и бледная после танцев, но слабо улыбалась и, кажется, совсем не сердилась... Они не разговаривали, только раз Артамон спросил: «Вера Алексеевна, вы не замерзли?» – и она молча качнула головой в ответ. Санки неслись быстро и легко, чуть покачиваясь на ходу, по почти пустым улицам, и вскоре от встречного ветра действительно защищало щеки и стало больно глазам. Брат рассеянно и как будто с недовольным видом глазел по сторонам, а Артамон не сводил взгляда с Веры Алексеевны. Из-под шапки ему на лоб выбивалась темная, чуть волнистая прядь, приподнятые брови придавали всему лицу удивленное выражение, на воротнике ярко серебрился снег. Было в нем что-то несомненно вальтер-скоттовское. Если бы сейчас она приказала ему прыгнуть с моста в полыню – он бы прыгнул, не задумавшись...

Высадив Веру Алексеевну у подъезда горяиновского дома, где ждали с фонарями лакей и встревоженная горничная, друзья покатали в Хамовники.

– Нехорошо вышло, надо было хоть родителям показаться. Привезли, увезли... как разбойники. Вере-то Алексеевне не нагорит?

– Ей, чай, не шестнадцать лет, – равнодушно отвечал Сергей.

Артамон смущенно кашлянул.

– Только ты того... остальным не болтай.

– Однако! Чего вдруг ты смущаешься?

– Ей-богу, неловко... они все славные ребята, но невозможно грубые.

– Ты, капитан, давно ли в монахи записался? – насмешливо спросил Сергей.

– Сережа, я тебя в сугроб скину, ей-богу, – погрозил Артамон, недвусмысленно нажав плечом. – Я ведь не от нечего делать... ты себе не представляешь, насколько это серьезно.

– Так что же, ты любишь ее? – спросил Горяинов после некоторого молчания.

– Люблю, больше жизни люблю!

– Что ж, и жениться намерен?

Артамон задумался... До сих пор мысль о женитьбе как-то не приходила ему в голову, но так естественно было и дальше представлять Веру Алексеевну рядом с собой, что он запросто ответил:

– А что же, и намерен.

– Зачем? – с искренним недоумением спросил Сергей. – В двадцать три года одни мужики женятся. Вот так расстаться со свободой... не понимаю. Ты, конечно, порядочный человек, и я первый порадуюсь, если сестра замуж выйдет, но, откровенно говоря... нне понимаю!

– Что значит «зачем», корнет? Говорят же тебе – я ее люблю! Пустяки, свобода... А кроме того, Сережа, хочется обыкновенного человеческого уюта. Семейному всегда лучше, чем одинокому. Посуди сам: живут холостые как свиньи, извини меня, только что из корыта не лакают. В комнате как в помойной яме, набросано, разбросано, тут и обед стоит, тут же рядом сапоги в дегтю, и еще дрянь какая-нибудь валяется. Когда человек не женат, он как-то исключительно ни с чем не сообразен. Всё из рук валится, письмо надо писать, а в чернильнице черт знает что плавает, никогда не сыщешь ни табаку, ни бумаги, сосед в номер собаку привел, и она, подлая, тебе весь мундир обсушила... Вообрази: каждый день приходиться вечером и видеть любимое существо... ведь это рай!

Он выпалил это и тут же сам смутился – всё это было не то, не главное и звучало чертовски глупо, словно ему была нужна не жена, а экономка. Семейная жизнь и правда не отпугивала, а привлекала его, но как можно было объяснить это Сергею, который охотно предпочитал товарищеские развлечения семейному очагу и узаконенным радостям? Может быть, в Артамоне особенно сказались барское домоседство отца и ein Nest bauen<sup>9</sup> матери-немки; может быть, проведя детские и отроческие годы дома, не в казенной обстановке пансиона или училища, он помнил, как счастливы были отец с матерью и как они любили друг друга, невзирая даже на скудость, нездоровье, взаимные шпильки...

– А ты уж думаешь, что покой и порядок сами собой враз сделаются, как только женишься? – иронически спросил Горяинов. – Женился – так уж прямо и в рай попал? Нет, брат, я посмотрю, что ты скажешь, когда жена запоет тебе про долги, про детей, про скверную кухню... сам видал этих офицерских жен. Из такого рая куда угодно убежишь.

– У тебя, Сережа, очень цинический взгляд. И свою сестру, кажется, ты совсем по заслугам не ценишь. Вера Алексеевна ни разу не пожалеет... Я ее так люблю, что никогда ей повода не доставлю, да и сама она не из таких, кажется, чтобы жаловаться по пустякам.

– Почему же ты так уверен?

– Не знаю, Сережа, но отчего-то уверен... знаю твердо, что мы с ней будем счастливы. Да, счастливы! Ты посуди сам, какое исключительно счастливое наше знакомство.

– Ты, Артамон, старше меня, а рассуждаешь, как четырнадцатилетний. Ну разве можно с такими представлениями заводить семью? Жениться только потому, что надоело жить как на постоялом дворе, где некому пуговицы пришить... честнее, по-моему, завести себе метреску – кавалергарду любая на шею бросится. Для чего же жениться? С твоими взглядами – ну что у вас будет за семья?

– Корнет, не забывайся!

– Виноват-с, – лукаво ответил Сергей. – А все-таки?

– Ведь ты же ей брат – казалось бы, должен желать Вере Алексеевне счастья. – Артамон покраснел. – За каким дьяволом ты меня отговариваешь? Я же говорю тебе: люблю ее больше жизни! А ты мне про постоялый двор и пуговицы... Черт с ними, с пуговицами! Отчего ты не понимаешь?

– Ну прости, прости... я все прекрасно понимаю, ты влюблен, ничего не смыслишь, ну и дай тебе Бог всяческого счастья, а Вере с тобой терпения.

---

<sup>9</sup> Вить гнездо (нем.).

### Глава 3

Я вижу, что только мы с тобой отчаянны, – с досадой сказал Артамон. – А остальные отошли, чуть до дела. Разговору прежде много было...

Никита с досадой оттолкнулся от подоконника.

– Чего ты от меня хочешь? Заладил одно и то же...

– Ты сам говорил!

– Я говорил и не отрекаюсь, да неужто ты сам не понимаешь? Что дальше? Смута, безвластие... Ты этого хочешь, что ли?

– Не кричи на меня, Никита. – Артамон с горечью махнул рукой. – Я ведь вижу, как вы на меня смотрите. И Александр отдалился...

Разговоры в Шефском доме по-прежнему были полны огня и страсти, но Артамону уже чего-то недоставало... Ему казалось странным, что можно разговаривать все об одном и том же, не приходя к согласию и не начиная решительных действий. До Артамона дошел слух о насмешке Лунина – тот якобы сказал Никите: «Вы сперва хотите энциклопедию написать, а потом уж революцию сделать». Эти слова все более оправдывали себя в его глазах. Лунин желал либо действовать, либо уж окончательно отступить, но только не ждать годами сигнала, как начальственного кивка в чужой передней, не кормиться обещаниями и надеждами...

Ожидание расхолаживало, попусту взвинчивало нервы; Артамон полагал, что все должно случиться и сделаться сразу, внезапно... что именно и как именно, было не так важно. Гораздо важнее казалось начать, ударить, атаковать, и поэтому отрывистые и сердитые Никитины увещевания действовали на него, как ведро холодной воды. После таких разговоров он обыкновенно чувствовал себя ошеломленным и униженным, словно Никите пришлось разъяснять ему азбучные истины. Никогда и никакие герои древности, никакие рыцари, никакие Мазаньелло не окружали свое дело таким количеством отговорок и проволочек, как Никита и Александр Николаевич.

А главное, круг, который некогда казался единым и нераздельным, начал, по пристальном изучении, распадаться на двойки, тройки, четверки... Одни требовали реформ, другие духовного обновления, третьи народного образования – немудрено было растеряться! То, что между друзьями может не быть единодушия по важнейшим вопросам или что мнение бесспорных глав общества, самых умных, самых бесстрашных, то есть настоящих героев, может быть оспорено, смущало Артамона... как смущало и то, что он, со своей горячностью и желанием немедленно действовать, остался в меньшинстве.

– Вам, Никита, как будто и вправду интереснее говорить, чем делать, – заметил он. – Это все твоё масонство... да! Одна философия...

– А я тебя еще раз убедительно прошу до масонов не касаться, если ты дорожишь моей дружбой.

– Может быть, мне тогда на собраниях и вовсе помалкивать? – язвительно спросил Артамон.

– Пожалуй, так действительно будет лучше, – спокойно ответил Никита. – По крайней мере, произведешь наконец впечатление серьезного человека.

– А! Так все мои слова тебе недостаточно серьезны и в мои намерения ты не веришь?

Никита нарочитым жестом приложил ладони к вискам.

– Только не начинай, ради Бога, с начала, я тебя прошу.

– Было бы что начинать... Твои любезные приятели, Катенин с Гречем, надо мной мало не в глаза смеются, а я терплю. Ты мне тогда про королевство Датское напомнил, а я тебе вот что скажу:

Et les entreprises les plus importantes,  
Par ce respect, tournent leur courant de travers,  
Et perdent leur nom...<sup>10</sup>

Артамон оборвался на полуслове.

– По крайней мере, скажи на милость, ты хоть согласен по-прежнему, что тиран преступен и должен быть... казнен?

Никита молча кивнул. Знакомые слова, столько раз повторяемые, начинали раздражать. Так раздражает тихого и склонного к созерцательности человека беспокойный сосед по комнате, который лезет с расспросами, кашляет, стучит сапогами, курит без спросу – пусть не со зла, но мешает, мешает бесконечно. Артамон был упрям, временами до назойливости, если желал добиться своего. Трудно было сказать, что Никита не доверял Артамону, но от беспрестанных разговоров об одном и том же ему становилось скучно. «Вот что получается из человека, который растет с простыми и добрыми, но бестолковыми родителями, без какого-либо духовного и умственного влияния, – думал он. – Шуму много, а большого ума не видно...»

Разговор не клеился и был близок к вспышке. Того единственного ответа, которого так ждал кузен, Никита не дал и дать не мог, и обоим было досадно. Не сойдясь темпераментами, они в последнее время как будто только и искали повода разойтись без ссоры. Артамон это чувствовал и считал себя виноватым. Чего-то в нем, по его мнению, не доставало, а он никак не мог уловить, чего именно... Мысль о том, что он уступает родичам во многом и никак за ними не угонится, не давала ему покоя.

Он предпринял еще одну попытку.

– Никита, ты знаешь, меня скоро командируют в Тамбов. Чтоб не зря ехать, дай мне, по крайности, право набирать единомышленников в Пятом корпусе. Хоть записку напиши, что ли...

Никита на мгновение задумался...

– А ты прав, – вдруг сказал он. – Я даже более того сделаю – дам тебе целую книжку и напишу в ней цель общества, и те, кого ты примешь, пускай в ней расписываются. Я тебя только об одном убедительно прошу – не распространяйся, ради Бога, с кем попало об истреблении, кинжале и прочем. Это неосторожно, в конце концов, всегда можно нарваться на донос. Обещаешь?

– Обещаю, ты только напиши.

Никита, казалось, сам вдруг воодушевился этой идеей – он сходил к себе на квартиру и принес небольшую записную книжку в зеленом переплете. Вернулся он не один, а с Катениным, который, как оказалось, там его поджидал, но Артамон обрадовался и Катенину, немедля простив ему недавние косые взгляды и усмешки. Катенин, похоже, заодно с Александром Николаевичем усвоил взгляд на Артамона как на балагура и забавника, которого не следует принимать всерьез. Раздражало это безмерно, до белой ярости... Из уважения к Никите и Александру Николаевичу Артамон не решался гласно потребовать объяснений – да еще Бог весть что вышло бы из них. С бойкими и острыми на язык гостями полковничьей квартиры Артамону было не тягаться. Быть шутком при Никите он не желал – и теперь всё отдал бы, лишь бы тот вновь заговорил с ним горячо и искренно, как осенью. И без того нелегко было смириться с тем, что кузен, годом младше его, смотрел и рассуждал как старший.

Все трое стеснились у стола, и Никита принялся писать.

– «...соединиться в Общество для того, чтоб связать нравственно отличных людей между собою и сим способом всем вкупе стремиться к пользе Отечества», – прочел он.

---

<sup>10</sup> И начинанья, взнесшиеся мощно, Сворачивая в сторону свой ход, Теряют имя... (фр.). (Французский перевод «Гамлета» был сделан Вольгером.)

– Нравственно отличных... это хорошо, да!

– Ты не забудешь ли, что обещал?

– Как можно, Никита.

– Тогда слушай дальше: «Сим уполномочен штабс-капитан Артамон Муравьев набирать сочленов в 5-м Резервном Кавалерийском Корпусе». Ставлю подпись. Подпишите и вы, Катенин.

Теперь, когда у него появилась цель, Артамон вновь развеселился. Он принялся шутить с Катениным, даже расшевелил Никиту, а после их ухода стал представлять, какие разговоры будет вести в Тамбове с «нравственно отличными людьми» – непременно храбрыми и решительными, – и как пополнится ими общество, и с каким уважением взглянут на него Никита и Александр Николаевич. Запрет говорить об «истреблении», впрочем, несколько обескураживал его, но Артамон тут же признал, что Никита совершенно прав. Бывало, что из-за неосторожности заговоры раскрывались в последний момент и конфиденцы шли на плаху.

От этой мысли нетрудно было перейти и к самому «истреблению»... Артамон представлял себе эту сцену неоднократно, и всякий раз в подробностях. После ухода Никиты и Катенина он даже достал пистолет и принялся целиться в зеркало, прикидывая расстояние. «Рука не дрожит... это хорошо. Нужно упражняться больше, чтоб и с тридцати шагов не промазать». Лицо, глянувшее на него из зеркала, было бледным и интересным, только глаза сделались круглыми, как у кота.

Как ни крути, выходило, что дело несложное, хоть во дворце, хоть на бале, хоть во время прогулки или на параде. Обставить его более или менее драматически – маски, кинжалы, плащи и прочее – зависело от обстоятельств и от того, следовало ли исполнителю покушения пасть на месте жертвой или бежать, спасая свою жизнь. Нужно сказать, оба исхода Артамон воображал с удовольствием и с трепетом, а в тех случаях, когда трепет переставал быть приятным, напоминал себе, что он недаром тезка Артемию Волынскому. Смущало его лишь то, что, в случае жертвы, придется, во-первых, навеки проститься с Верой Алексеевной, а во-вторых, вновь причинить ей боль утраты. Но и тут, поразмыслив, Артамон успокоил себя. Вере Алексеевне наверняка приятно будет помнить его как героя... а если жертвы не понадобится, тем более... а если даже и понадобится, может быть, до тех пор они успеют составить счастье друг друга, и, когда пробьет роковой час, она сама благословит его...

У него голова шла кругом.

«Вот теперь можно и предложение делать, – блаженно подумал он. – Мне, право, есть чем гордиться. И потом, Егор Францевич говорит, мне вот-вот выйдет в ротмистры. По крайней мере, не с пустыми руками, для успокоения совести. Конечно, окружить Веру Алексеевну роскошью я не смогу, но неужели она откажет мне из-за того, что я небогат? Она не тщеславна, кажется, и не привыкла к блеску... Пускай нас ждет бедная жизнь, но она будет счастливой!»

Он неосторожно взмахнул рукой, словно споря с кем-то незримым, и случайно спустил взведенный курок. Зеркало разлетелось вдребезги: пистолет оказался заряжен. В комнате повисло облако дыма. Артамон выругался от неожиданности, обернулся и увидел на пороге брата Александра – тот, обомлев, смотрел на него с раскрытым ртом.

– Ты что?..

– Господа, имейте совесть, – сказали из соседнего «номера». – Кто там пули в стену садит?

– Я нечаянно, Митя.

Впрочем, Александр Захарович, вернувшийся с вечера, был настроен благодушно и на чудачества брата не сердился.

– Ну, слава Богу, хоть не убился. А ты зря в собрание не поехал, было премило. – Александр Захарович даже о приятном рассказывал мерно и не повышая голоса, словно читал нота-

цию. – О тебе справлялись, между прочим... *tu avais du succès autrefois*<sup>11</sup>! Ты вообще становишься каким-то анахоретом, ездешь на вечера черт знает куда, где никого не бывает... ну что ты улыбаешься?

– Так, Саша... ты рассказывай, рассказывай. Я очень рад за тебя.

Брат подозрительно взглянул на него.

– Того и гляди, тебя совсем забудут в свете, нехорошо... послушай, Артамон, я так не могу, ей-богу. Или прекрати скалиться, или выкладывай, что у тебя на уме. Не то я сейчас лягу спать, и попробуй только меня разбудить.

– Нет, Саша, честное слово, ничего такого... так что же в собрании?

Александр Захарович, все так же мерно, принялся рассказывать. Артамон слушал, улыбаясь знакомым именам... Брат казался ему совсем юным, а себя уж он считал положительным семейным человеком, обремененным совсем иными делами и заботами, нежели улыбки светских барышень. Роль степенного отца семейства Артамон примерял на себя так же легко, как и роль героя. Улыбаясь и кивая брату, греясь в лучах чужой радости, он думал о своем, но тут напомнила о себе и собственная молодость, и степенному отцу семейства стало решительно невозможно усидеть на месте. Захотелось сбежать по лестнице, взбудоражить спящие улицы, махнуть галопом далеко за город или хотя бы распахнуть окно и крикнуть что-нибудь на весь двор...

Теперь, после разговора с Никитой, после легкомысленной и счастливой болтовни Александра Захаровича, хранить тайну казалось невозможно, да и незачем. Артамон подумал, что наконец всё для себя решил. Определенность, которой он ожидал несколько месяцев, наконец настала, и нужно было немедленно что-то сделать, не то – он чувствовал – он принялся бы хохотать как сумасшедший.

Когда Александр Захарович начал рассказывать про кем-то изобретенные новые фигуры в мазурке, Артамон не выдержал – он обхватил брата и заскакал с ним по комнате.

В стену постучали.

– Вы с ума спрыгнули, господа? Утра шестой час.

– Мы, Митя, подумали, что уж не стоит и ложиться.

– Вы-то подумали, а нам каково?

С другой стороны отозвались:

– Мы уж решили, что Сашка не собаку, а коня в номер привел.

– Астраханского верблюда.

– Слона.

Из соседнего номера пришли поручики Злотницкий и Волжин. Явился и Сергей Горяинов.

– Если не даете спать, дайте тогда выпить.

– За шкапом корзина стояла – глянть, нет ли бутылки.

– Кстати о конях, эскадронный обещал загонять на дистанции. Отчего у конногвардейцев верста три минуты, а у нас три с четвертью?

– Черт его знает.

– Я тебе скажу почему. У Петюшки Арапова гунтер, а у меня ганноверский тяжеловес. Эскадрон равняется по тихоходам. Вот тебе и три с четвертью. Зато на пяти верстах они за нами не угоняются.

– *Vivat les chevaliers-gardes*<sup>12</sup>!

– Послушайте, господа! – вдруг выпалил Артамон. – Я хочу одну вещь сказать... господа, я женюсь.

---

<sup>11</sup> Ты прежде имел успех (*фр.*).

<sup>12</sup> Да здравствуют кавалергарды! (*фр.*)

В комнате воцарилась мертвая тишина.

– Шутишь? – наконец спросил Волжин.

– Да что вы все как сговорились, за шутку держите! – обиделся Артамон. – Естественно, женюсь, на его вот сестре, на Вере Алексеевне.

– И молчал до сих пор?! Ты-то, Сережа, что ж?

– Будешь тут молчать... он меня мало не к барьеру грозил поставить, если разболтаю.

– Ай, Артамоша, молодец! – гаркнул Злотницкий. – Хвалю! Вот это по-нашему – влюбился, так нечего медлить!

– Друг! Артамон! Прощай, свобода!

– Я медлить не люблю-ю-ю! – сатанинским басом пропел Волжин. – Сейчас мы денщика того... за шампанским.

– Господа, шестой час утра, какое шампанское? – пытался слабо протестовать Александр Захарович. – Хороши мы будем на плацу, нечего сказать.

– Ничего, Саша, мы в меру. Могий вместити... Артамон, а мальчишник? Непременно мальчишник! Господа, качать капитана!

– Идите к черту! Уроните или об потолок стукнете...

Александр Захарович оттянул брата в сторону.

– Послушай, ты говорил с отцом?

– Покуда нет, да вот поеду в Тамбов...

– *Frateculus meus*<sup>13</sup>, я тебе решительно удивляюсь... или, пожалуй, не удивляюсь, вечно ты все делаешь навыворот. И уж сразу «женюсь». Ее родителям, я полагаю, ты тоже еще ни слова не сказал? Ну а как откажут?

– Кому, мне? – удивленно спросил Артамон.

Александр Захарович только развел руками, а потом не удержался и весело хлопнул брата по плечу.

– Что папаша-то скажет, ты подумал? Черт... какой-то ты этакий – невозможно тебя не любить.

– Твоими бы устами...

Рыцари, подвиги, дамы – все это так и кружилось в голове Артамона, и на следующий день ему пришла в голову блистательная идея. После учений он подошел к Злотницкому и, стараясь говорить как можно беззаботнее, спросил:

– А что, Юзе, можешь мне наколоть буквы, как у тебя?

Злотницкий носил на руке наколотые порохом инициалы М.Д., уверяя, что сделал татуировку в Париже, в честь красавицы актрисы, подарившей его своей благосклонностью.

– Э-э, да ты, капитан, гляжу, бесишься всерьез. Что хочешь?

– Вот так. – Артамон пальцем показал на кисти. – Латинскими буквами – «Вера».

– Уж сказал бы сразу – «верую», – пошутил Злотницкий. – Знаешь, чего тебе недостает? Рыцарского щита с гербом твоей прекрасной дамы.

Вечером к Злотницкому набилась компания – выпить еще раз за жениха, позубоскалить... Артамон выслушивал товарищескую болтовню благосклонно. Он не сомневался, что слухи уже дошли до Никиты, но не нашел кузена в явившейся к нему с поздравлениями толпе. Впрочем, и без Никиты доброжелателей хватало. Принесли шампанское, гитару, и пошел кутеж – видимо, товарищи решили устраивать мальчишник при каждой возможности. Злотницкий, еще сохранявший относительную трезвость, велел поставить на стол побольше свечей и принялся за дело: сначала накалывал иголкой контур каждой буквы, от большого пальца к указательному, потом острием прорывал кожу между точками и затирали ранки порохом.

– Это, верно, чтобы в ином месте не забыть, – сострил Волжин.

---

<sup>13</sup> Братец мой (*лат.*).

Гуляки примолкли – острота вышла чересчур соленой даже для подвыпившей компании.

– Вашу шутку, – не поворачиваясь, медленно и внятно проговорил Артамон, – я считаю в высшей степени неуместной. А вы сами как думаете?

Поручик, словно пригвожденный к месту этим вопросом, беспомощно покрутил головой. Дело, которое он, очевидно, рассчитывал свести к пикантной болтовне в мужском кругу, вдруг начало обретать для него нешуточный оборот. Ссору развел Александр Захарович. Он обнял брата за плечи, быстро сказал ему на ухо: «Полно, не сердись, видишь, он в стельку пьян», а поручику посоветовал:

– Вышли бы вы отсюда проветриться... что вам, места мало?

Поручик, которого столь недвусмысленно выставляли за дверь, точно маленького, покраснел, задумался, не обидеться ли, но лезть на ссору с Артамоном и доброй половиной офицеров не решился.

– А в английской армии, – задумчиво произнес кто-то, – я слышал, татуируют дезертиров и буянов. Накладывают такую штуку с гвоздями и бац молотком, потом...

Артамон понимал, что товарищи его «проверяют», нарочно рассказывают всякую чушь, а потому, прикусив губу, не сводил взгляда с Злотницкого и старался не вздрагивать, чтобы не испортить рисунка. Закончив, Злотницкий стер платком, смоченным водкой, с руки «пациента» кровь, перевязал кисть полосой чистого полотна и подмигнул:

– На вечную память.

С повязкой на руке Артамон проходил неделю; впрочем, и Вера Алексеевна с родными на несколько дней уехала погостить к друзьям на дачу. Чтобы видеться с ней хотя бы урывками, Артамон был готов совершенно жертвовать сном – отправляться на дачу вечером и возвращаться в казармы поутру к началу учений. Но кавалергарды ждали последнего смотра перед отбытием в Петербург, и ротный командир, что называется, натягивал удила. Штрафы сыпались на изрядно развинтившихся гвардейцев, как из мешка. Рисковать арестом за опоздание Артамон не хотел. Вдруг, пока он будет сидеть на гауптвахте, Веру Алексеевну увезут уже не на дачу, а в деревню? Прощай тогда возможность объясниться в ближайшее время... Оставалось ждать – и терпеть.

Дождавшись возвращения Горяиновых в город, он полетел к ним... и – о удача! – застал Веру Алексеевну, против обыкновения, одну в гостиной. Судьба решительно ему благоприятствовала.

Он сел... Любинька и Сашенька могли войти в любую минуту – в конце концов, их могли нарочно прислать родители, чтобы, самим не вмешиваясь в беседу молодых людей, не оставлять дочь наедине с гостем. Они поговорили о том о сем, о театре, о недавно прочитанных романах. Вера Алексеевна потянулась за книгой, желая показать понравившееся место. Артамон положил руку на подлокотник и словно невзначай слегка поддернул обшлаг, чтобы видны были синеватые буквы – Vera. Вера Алексеевна посмотрела на них, с тревогой перевела взгляд на собеседника...

– Что это?

– А вы не до-га-ды-ва-етесь?.. Это я для вас.

– Зачем вы?..

– А вы как думаете? Чтобы на всю жизнь, Вера Алексеевна. Я хочу ваше имя всегда носить...

– Зачем – на всю жизнь? – негромко спросила она и добавила: – Да ведь это, должно быть, больно...

– И вовсе нет – если об вас думать, ничего не больно. Я всегда вас буду любить... всегда. Как ваше имя буду носить на руке, так хотел бы и вас носить на руках всю жизнь, чтоб вы ножкой не запнулись.

– Надоест, Артамон Захарович, – поддразнила она.

– Что вы... я сейчас совсем серьезно говорю. Я люблю вас. Неужели вы не верите?

Он опустился на колени перед ней, но вышло неловко – он был высок, и их глаза при-  
шлись почти вровень. Тогда Артамон порывисто поднялся, обхватил удивленную Веру Алек-  
сеевну за талию, поставил ногами на кресло и с тревожной улыбкой заглянул в лицо снизу  
вверх, как будто держал в руках что-то особенно дорогое и хрупкое... Вера Алексеевна часто  
потом вспоминала, что именно так он всегда и смотрел на нее, снизу вверх, словно она стояла  
на пьедестале.

– Вы согласны быть моей женой? – спросил Артамон.

– Согласна, согласна... – Она вдруг рассмеялась от неожиданности и от счастья. – Пожа-  
луйста, помогите сойти, не дай Бог, кто-нибудь войдет.

Он, враз смутившись, протянул ей руку, и Вера Алексеевна прыгнула. Не выпуская ее  
руки, Артамон попросил:

– Повторите, прошу вас... что вы сказали? Только уж не смейтесь.

– Я согласна, – смело произнесла Вера Алексеевна.

## Глава 4

Все складывалось как нельзя более благоприятно. В июле, как и говорил добрейший Егор Францевич, Артамону дали ротмистра. Поездка в Тамбов с командиром 5-го кавалерийского корпуса, графом Ламбертом, у которого Артамон служил адъютантом, выдалась приятной и необременительной, погода стояла великолепная, в двадцать четыре года его карьера складывалась блистательным образом, Вера Алексеевна отвечала взаимностью.

Люди «нравственно отличные» попадались ему повсюду в таком количестве, что в какой-то момент он даже усомнился, вправду ли их так много на свете. Впрочем, памятуя завет Никиты, он держался с осторожностью, чересчур широких знакомств не заводил и заговаривал о важном и серьезном, только убедившись наперед в достаточном расположении собеседника. Одним таким знакомством – с полковником Акинфиевым, георгиевским кавалером и безусловно положительным человеком, – Артамон особенно гордился. Акинфиев о порядках в армии высказывался решительно и, на правах отличенного за храбрость, весьма либерально. Он ругал волокиту и чиновников, в своих намеках доходя до имен весьма опасных, но, когда Артамон заговорил о московском обществе, полковник насторожился.

– Это вроде масонов, – успокоил его Артамон. – Соединившись вместе, всё проще бороться со злоупотреблениями, чем порознь. Ну же, решайтесь!

И полковник решил, и его имя первым украсило еще пустую книжку в зеленом переплете, выданную Никитой.

– Однако ж вы уверены, что из этого не выйдет ничего дурного?

– Что же может выйти дурного, если несколько порядочных людей будут на своих местах стремиться к благу Отечества? – искренне удивился Артамон.

Еще один новообращенный, капитан Горин, поинтересовался:

– Каким же образом мне следует на своем месте стремиться к благу Отечества?

– Быть справедливым, не злоупотреблять самому и пресекать злоупотребления в других, – отрапортовал Артамон. – Чего уж проще?

Ему самому было просто и легко как никогда... Даже предстоящий разговор с отцом не пугал и не смущал. Артамону казалось, что достаточно будет известить папеньку о своем решении, и тот немедля расчувствуется и благословит первенца, как благословил дочь Катю, ныне счастливо жившую замужем за Канкриным. Когда Артамон, взяв с нее слово не писать первой отцу, признался, что нашел себе невесту, сестра умиленно ответила: «Я уверена, что девица Горяинова лучше мужа не сыщет».

Так неужели отец отказал бы старшему сыну в праве на счастье? Поддерживаемый этими мыслями – благородный старец обнимает сына, молодая чета склоняется под благословение и так далее, – Артамон ехал в «отпуск для устройства семейных дел» с особенным удовольствием...

Даже разразившийся по дороге в Тербони дождь его не обескуражил. Ехать наперегонки с грозой было весело, все равно что в детстве бежать по полям к дому под первыми тяжелыми каплями с неба, под ошеломляющими порывами ветра. До одури пахло цветами с полей, горячей пылью, травой, а потом – мокрой листвой и свежестью с пруда. Последний спуск с холма, на котором не раз переворачивались и телеги, и брички, преодолен был вмах. Седоки даже не успели испугаться, когда лошади заскользили по глине, часто-часто заперебирали ногами, но все-таки выправились и рванулись дальше – и все та же старая дверь от амбара лежала вместо мостика через ручей, – и старший сын, с мокрыми от дождя плечами, простучав сапогами по крыльцу, вбежал в переднюю и громко крикнул, как в детстве:

– Я приехал!

Старый деревянный дом заахал, запричитал на все голоса: «Барин приехали, молодой барин приехали!» Артамон наспех поцеловал крестную, жившую в доме на правах родственницы и экономки, через головы сходящихся слуг нетерпеливо замахал и закивал отцу, посторонил одного, другого, почти бегом кинулся к старику. Снова представил себе благородного старца, благословляющего почтительного сына...

– И не предупредил! – весело попрекнул Захар Матвеевич.

Почтительный сын не удержался:

– Папенька, я женюсь!

Захар Матвеевич пристально взглянул на сына, засмеялся, перекрестился...

– Ты шутишь, что ли?

– Отчего же? Я намерен жениться, совершенно серьезно намерен... собственно, об этом и приехал говорить.

Старик вздохнул.

– А я думал, ты отца навестить приехал. Дождешься тебя без повода-то, как же... вы нонеча столичными стали. Ступай в кабинет.

И, отвернувшись, первым зашагал по коридору. Артамон оторопел... образ сентиментального старца сменился чем-то зловещим, словно его, как нашалившего мальчика, вновь звали в отцовский кабинет, чтобы выдрать за уши. Редко когда ротмистр Муравьев 1-й чувствовал себя таким растерянным, как в ту минуту, когда пристыженно и торопливо шел в кабинет вслед за широко шагавшим отцом.

– Ну? Кого приглядел? – поинтересовался Захар Матвеевич, едва дождавшись, когда сын закроет за собой дверь.

Артамон хотел объявить, что не только приглядел, но уже и сделал предложение, но что-то в отцовском лице его остановило. Захар Матвеевич был, конечно, не из тех, кто в гневе способен попотчевать взрослого сына жезлом железным, но все-таки раздражать его сверх меры не следовало.

– Это какого же Горяинова дочь? – спросил старик, услышав ответ. – Не того, который в пятом году в Вологде губернатором сидел?

– Так точно.

– А Вера Алексеевна – это которая будет? У него, помню, их что-то было бессчетно...

– Кроме Веры Алексеевны, – сдержанно ответил Артамон, – еще три младших.

– И все не замужем?

– Так точно.

– Ну, брось, заладил, я тебе не генерал. Сколько же ей лет?

Артамон не отрываясь смотрел в пол.

– Стало быть, берешь за себя бесприданницу, да еще и старую девку? Я что-то не пойму, ты шутить этак изволишь или что?

Захар Матвеевич, тяжело ступая, прошел туда-сюда по комнате.

– Тяжело быть старшим, Артамон. Велика ноша, и заботы много. Я-то думал, выйдешь в отставку, тогда, Бог даст, женишься, имение поднимешь... а ты что задумал? Ведь Горяинов за ней и десятка душ не даст.

– Вот если Саша...

– Ты на Сашу-то не кивай, взял моду. Ты старший, а не Саша. Чем жить будете с женой, подумал?

– Коли доходов с имения мало, так, я полагаю, на жалованье.

– Тебе жалованья одному-то не хватает. Кому я по весне тысячу рублей посылал?

– Положим, мне посылали, только...

– То-то – «только». Тут, брат, хоть положь, хоть поставь, выходит одно: ума еще не нажил, чтоб себя содержать, а уж хочешь семью кормить. На шею ты мне с ней сядешь, вот что. На

Катю погляди – какую блестящую партию сделала. Саша, даст Бог, женится – не пропадет. А ты людей смешишь. Ну, ступай, не сердь меня, ступай к крестной, она соскучилась. Ты против моей воли не пойдешь, я знаю.

– Не пойду, а все-таки... Если не будет вашего благословения на мой брак с Верой Алексеевной, я тогда вовсе не женюсь.

– Ну и не женись, больно надо... тоже киевский игумен выискался. Ну, ступай, ступай, полно о том, поговорили – и кончено. Я тебя рад видеть, только глупостей не ври.

Артамон коротко поклонился, вышел, звякнув шпорами, осторожно притворил за собой дверь. Отец, вернувшись в кресло, усмехнулся: в коридоре шаги по скрипучим половицам послышались не сразу. Сын стоял перед дверью, раздумывал... ушел наконец. «Это надо же, в такую даль скакать с такими новостями. Удосужил, голубчик, удосужил...» Он вдруг вспомнил, как много лет назад Артюша, ребенок, после строгого внушения за упрямство и драку с младшими, пожаловался: «Папенька! Сашу и Татю (так звали сестру Катю) любить нужно, потому что они маленькие, вас – потому что вы старше, а меня-то кто же полюбит?» И такая неподдельная обида звучала в хриплом от слез детском голосе, что отец задумался: «Надо же, от земли не видать, а чувствует прямо как большой».

Захар Матвеевич отогнал непрошеную мысль: «Алексашке бы старшим родиться... Эх, удосужила меня Лизавета-покойница, прости Господи, родила – как в себя вылила. Не в нашу породу. И сама была упряма, как...» Захар Матвеевич так и не договорил про себя, как кто была упряма покойница жена. Старику словно не хотелось признавать, что и упрямство, и взбалмошность, и нерассуждающая доброта были его, исконно муравьевские. Елизавета Карловна обладала своеобразной холодной справедливостью, считала главной добродетелью умеренность и непоколебимо верила в благое воздействие наград и наказаний. Отец, который мог, по настроению, за один и тот же поступок и похвалить, и выдрать за уши, служил прибежищем детям, слегка смущенным этим механическим правосудием.

Артюша, впрочем, невзирая на внедряемое матерью благонравие, рос каким-то бешеным, и хохотал и плакал так, что слышно было на весь дом, ввязывался в самые сумасшедшие авантюры, словно желая выказаться любой ценой. И добро бы ввязывался один! Он увлекал с собой и спокойного Сашу, и даже Татю, вынуждая порой отца прибегать к крайней мере – класть на видное место в классной комнате березовый веник и несколько дней подряд многозначительно указывать на него, приговаривая: «Вот будете еще шалить... то-то!..» Отдавая сына в учение, Захар Матвеевич от «шалопая» больших успехов не ждал – обоих братьев, к огромной досаде отца, острые кузены в Москве прозвали «деревяшками». Не подростком даже, а юношей Артамон наконец выправился и начал выказывать некоторую сообразительность в науках. Старик надеялся, что теперь-то Артюшину удасться применить – и с удовольствием признал, что дисциплина пошла ему на пользу. В войну тот был неоднократно награжден, служил адъютантом, неудовольствия начальства на себя не навлекал. Офицер из него вышел неожиданно дельный и строгий. В двадцать четыре года Артамон получил ротмистра – во всяком случае, от других не отставал. А что влезал в долги – так какой же гвардеец не желает жить на широкую ногу? Дело молодое, холостое и вполне извинительное...

Летом двенадцатого года Артамон написал отцу, прося походатайствовать о его переводе в 1-ю армию, принявшую главный удар. Старик ответил лаконично: «Служи, где поставлен».

Артамон возмутился, объявил, что этак война успеет закончиться, прежде чем он побывает в деле, сам слезно и бессвязно написал всеильному родственнику – Барклаю де Толли – и получил весьма холодный отказ. Старый Муравьев, узнав о самовольстве сына, только плюнул с досады. В знак родительского неодобрения следующее письмо он адресовал одному Александру, с припиской: «Артамону же передай, что я им весьма недоволен: и что волю старших подвергает сомнениям, и что по отъезде наделал долгов». Насчет долгов Захар Матвеевич, конечно, уколол намеренно. Смышленный Саша выждал до осени и, чтобы утишить отцовский

гнев, в очередном письме не преминул заметить, что брат Артюша-де в первом же сражении был ранен (о том, что рана была несерьезная, он, впрочем, умолчал). Рассказ был выдержан в духе весьма героическом – Саша описал, как молодого прапорщика спросили: «Vous êtes blessé?» – и как Артамон весело гаркнул: «Mais un peu»<sup>14</sup>, заслужив «молодца».

Письмо возымело свое действие: старик, казалось, впервые задумался, что может больше и не увидеть первенца. «Сломит себе шею... уж больно отчаянный». В голову лезли случаи самые неутешительные: вспомнилось, например, как два года назад, зимой, собравшаяся в Теробнях молодежь вернулась с охоты и у Артамона, который шумел и хохотал громче прочих, полушубок был разодран сверху донизу. Оказалось, молодой медведь вывернулся из-под загонщиков и Артамон с кузеном Михаилом Луниным оба бросились через целинник, по пояс в снегу, наперерез. Артамон, видно, думал стрелять в упор, не успел и оказался под зверем – спасибо, мужики отбили. А то еще мальчиком, в Петербурге, в манеже, куда их посылали учиться ездить, он, едва выучившись скакать через небольшой заборчик, разогнал коня в галоп и устремился к высокому барьеру, через который прыгали опытные наездники. В свои двенадцать выглядел он четырнадцатилетним и потому ездил на большом коне, как взрослый, но все-таки берейтор его остановил, не позволил прыгать. Артюша раскричался, требуя, чтобы его пустили, и дядька, надзиравший за ездой, махнул рукой: пусть его. Теперь, когда все глядели, отказываться было неловко, а прыгать – страшно. Артюша сделал по манежу лишний круг, снова взял в галоп, прыгнул, завалился набок и упал, да так, что кругом ахнули. А потом поднялся, подошел к Саше и сказал: «Давай и ты!» Саша, никогда не испытывавший зависти к брату, спокойно и серьезно ответил: «Не хочу».

Муравьев-старший долго размышлял над посланием – как ни приступал, выходило либо чересчур пространно, либо слишком уж назидательно. В конце концов Захар Матвеевич махнул рукой и написал попросту: «Бог с тобой, Артамон, я на тебя не сержусь, будь умен только». Ответ Артамон писал в палатке, пристроив перевязанную ногу на бочонок и совершенно не заботясь о том, что выходило как курица лапой. «Что Вы на меня более не сердитесь, для меня это самая большая радость, а ранен я осколком совсем пустяково, это Саша с перепугу отписал...» Судьба его оказалась удивительно счастливая: не считая того первого раза, всю кампанию, до самого Парижа, Артамон прошел без единого ранения.

В пятнадцатом году к умиравшей матери он не успел – получил письмо о нездоровье, а приехал на седьмой день после похорон. Поговорили с отцом в кабинете, потом Артамон вышел к сестре в гостиную. Татя – впрочем, уже Катя, статная девятнадцатилетняя красавица – вдруг попросила: «Артюша, покажи награды». Артамон принес шкатулку, принялся выкладывать на сукно стола – Анну, Владимира, прусский «За заслуги», железный крест за Кульм... Катя вдруг заплакала: «Мама бы порадовалась...»

Наутро Захар Матвеевич, встававший рано, заметил поднявшегося на крыльцо сына, окликнул его и удивленно спросил: «Ты откуда?» – «В часовне был». – «У матери? – И, взглянув на бледное от усталости лицо Артюши, недоверчиво спросил: – Всю ночь?» Артамон пристально посмотрел на отца. «Что ж тут удивительного?»

Захар Матвеевич тогда, казалось, впервые признал: шалопай Артюша посерьезнел...

Артамон рассчитывал прогостить дня три, но отцовская отповедь сделала Теробони, даже с установившейся погодой, куда менее привлекательными в его глазах. Он собрался наутро же. Захар Матвеевич не вышел к завтраку; он словно не слышал суеты сборов и беготни по коридору. Только когда сын постучал, чтобы проститься, старик подал голос.

– Папенька, так мне ехать пора, – сказал Артамон.

– С Богом, – отозвался тот. – В Едимонове побывай непременно.

<sup>14</sup> «Вы ранены?» – «Немного» (фр.).

Аргамон помедлил в коридоре, взялся было за скобку двери, потом махнул рукой и вышел.

## Глава 5

По дороге в Единово, к Корфам, тучи несколько развеялись. Артамон уверял себя, что отцовский отказ – еще не окончательное препятствие, главное, не падать духом... в конце концов, всегда можно сделать решительный шаг и венчаться тайно, а затем вместе броситься к ногам родителей, прося прощения и благословения. Неужели добрейший Захар Матвеевич проклял бы смирившегося сына и печальную невестку?

Если бы вдруг, паче чаяния, Вера Алексеевна не пожелала бежать и сочетаться браком без согласия родителей, можно было бы увезти ее, похитить – заручиться помощью верного друга, дожидаться с каретой у решетки сада, подстеречь на прогулке, подхватить, умчаться. Потом уж он бы уговорил ее, убедил... Почему-то казалось, что, если бы он все устроил заранее – купил кольца, условился со священником, – Вера Алексеевна наверняка согласилась бы. Конечно, пришлось бы некоторое время таиться, быть может, даже скрываться, в ожидании, пока минет гроза, но Артамона не смущали грядущие мытарства по станциям, провинциальным гостиницам, казенным квартирам. Его бы не смутила и необходимость ночевать в лесу или в чистом поле. Бог с ним, с шалашом! был бы плащ, чтобы укрыть Веру Алексеевну от зноя и от росы.

На попутной станции Артамону пришлось даже попросить воды, смочить лоб и виски: то ли от жары, то ли от неумеренных мечтаний закружилась голова.

Даже если судьба решительно им воспрепятствует и увезти Веру Алексеевну почему-либо окажется невозможно... что ж, они будут ждать. Год, два, десять, сколько потребуется, покуда старики не сменят гнев на милость. Лишь бы сама Вера Алексеевна не разочаровалась в нем, не сочла пустым болтуном. Во всяком случае, думал Артамон, она не сочтет его трусом!

«На самом деле, зачем же в лесу и в поле?.. Уехать к Корфам, там и венчаться, оставить у них Веру Алексеевну, покуда папаша не простит. Они позаботятся о ней ради меня и Саши, они славные люди... Нет, я не зря к ним еду. Надо провести рекогносцировку, не рассердятся ли они, ежели внезапно свалиться на них, как снег на голову, с молодой женой».

Корфы всегда радовались приездам молодежи. Своих детей у них было девятеро; летом усадьба так и звенела юными голосами. Артамона приняли как дома, засыпали вопросами и приглашениями, и он окончательно уверился, что им с Верой Алексеевной именно здесь и следует просить приюта. Он уже не понимал, как в Москве мог вместе с кузенами подсмеиваться над простотой Корфов, над той смесью небрежной барственности и педантизма, которая в обрусевших немцах бывает особенно трогательна. «Чудесные, милые, добрые люди! Никита и Александр умны, я этого не отрицаю, но все-таки с их стороны нехорошо смеяться. Да и я сам весьма неблагоприятно поступал, что смеялся с ними заодно. Нехорошо отречься от старых друзей только потому, что они-де старомодны и не вполне в духе времени. Иван Иосифович душевный человек, Федюша, Франц и Жорж мне как родные, всех их я знаю с детства...»

Слегка смутило Артамона лишь многозначительное, какое-то игривое хихиканье Ивана Иосифовича да его вскользь оброненная фраза: «Погодите, какой сюрприз вас к чаю поджидает». Причем сказано было таким тоном, словно старику Корфу хотелось подмигнуть, погрозыть пальцем, вообще сделать что-нибудь этакое, и он едва сдерживался, чтоб не испортить обещанного сюрприза. Артамон слегка растерялся...

Когда собрались к чаю, за спиной у него, из дверей, ведущих на галерею, раздался знакомый, чуть задыхающийся голос:

– Артамон Захарович, вот как! не ожидала...

Артамон обернулся, вскочил...

– Я думал, вы в Петербурге, – сказал он и тут же смутился. Это прозвучало грубо – словно он ни за что не заехал бы в Единово, если б твердо знал, что встретит там Toinette. И что-

то в глубине души ехидно подсказало: не заехал бы, побоялся. Артамон мысленно упрекнул папеньку: вот зачем хитрый старик велел непременно побывать в Едимонове!

Toinette Корф, миниатюрная розовенькая блондинка, настоящая немочка, смутилась... легкий веер ходуном заходил у нее в пальцах, грозя выпасть. «Только не вырони!» – мысленно взмолился Артамон. Он живо представил блаженные улыбки стариков, усмешки молодых, торжествующий румянец Toinette... Должно быть, она заметила умоляющий взгляд Артамона (а может быть, лицо у него в то мгновение сделалось чересчур красноречиво). Так или иначе, Toinette совлала с собой и с судорожным вздохом опустила на подставленный стул.

Когда-то, давным-давно, в детстве, до университета и до войны, маленьких Муравьевых привозили к маленьким Корфам играть. Здесь они возились, бегали взапуски, танцевали до головокружения, устраивали шарады и живые картины, катались на лодках, ссорились и мирились. Артюша и Алексаша, в те годы неуклюжие, как молодые медвежата, наперерыв, без толку и без смысла, ухаживали за младшими барышнями Корф – Héléne и Toinette – то Алексаша за Héléne, а Артюша за Toinette, то наоборот. Девочки отчаянно кокетничали, мальчики всячески «фигуряли», и все это как-то само собой разумелось, было таким же естественным, как шарады и катание на лодках. Точно так же, как-то само собой, вышло, что Артюша к пятнадцати годам стал считаться чем-то вроде жениха Toinette. Были и почти всамделишные страдания: узнав, что если Артюша женится на Toinette, то Алексаше нельзя будет жениться на Héléne, братья не на шутку призадумались, собирались даже тянуть жребий, зловещими намеками поговаривали о дуэли... однако решили отложить дело до будущих времен.

Ничего серьезного, разумеется, в этом не было. Во всяком случае, Артамон не помнил ни обещаний, ни заверений со своей стороны, но Toinette вздыхала, млела, роняла веер, а старики, точно так же, как теперь, многозначительно переглядывались, кивали и улыбались. Любовные игры молодежи им явно нравились, но... только ли игры видели в этих целомудренных детских ухаживаниях добродушные Корфы? И что думала сама Toinette? Артамон с ужасом понял, что до сих пор ему никогда не приходило в голову этим поинтересоваться.

Он несколько раз виделся с нею, уже когда учился в университете и потом в школе колонновожатых. Toinette оставалась такой же миленькой розовой блондинкою, как в тринадцать лет. Она была из тех, кто меняется мало и почти незаметно, и рядом с нею Артамон по привычке сам словно становился тринадцатилетним. Что для него была Toinette Корф? Хорошенькая восторженная девочка, каких в свете много, подруга детства, товарка по развлечениям и проказам. При встречах он дурачился, шутил, приносил ей в карманах яблоки и лакомства, дразнился, схватывал с плеч девочки легкий шарф и притворялся, что сейчас убежит с ним... Toinette ахала, закрывалась веером, смеялась. Смеялась с нею и Катись.

Может быть, сестра тоже видела и знала что-то такое, чего не видел Артамон? И не оттого ли после одного особенно бешеного взрыва веселья Toinette вдруг посерьезнела и тихо произнесла, как будто совсем не к месту: «Вы стали совсем большим?» Шестнадцатилетний Артамон сначала обиделся («Неужто только теперь заметила?»), а потом покраснел от удовольствия. С полчаса он шел по парку рядом с сестрой и с Toinette чинно, как взрослый, солидный мужчина. В самом деле, он уже носил мундир, который ему очень шел, и у него, как всегда у брюнетов, были заметны усы...

И еще раз он видел Toinette – уже во время войны, в конце двенадцатого года, когда был командирован с картами в Петербург, в штаб, и ненадолго стал настоящим кумиром своего прежнего маленького кружка. Toinette, увидев его, ахнула, вскрикнула, уронила веер; тогда Артамону впервые стало неловко и даже отчего-то боязно. Возвращаясь в Петербург, он – что скрывать? – с радостью думал о том поклонении, которым окружат его, героя, знакомые барышни, но взвизгивания и восторги Toinette перестали ему казаться милыми или хотя бы натуральными... Артамон даже с досадой подумал: «Еще женят, пожалуй» (тогда он уж стал это понимать).

Катишь потребовала, чтоб они все непременно поехали кататься, и брат снисходительно согласился. На самом деле ему тоже хотелось щегольнуть перед петербургской публикой. На повороте коляска слегка накренилась, Toinette качнуло туда-сюда. Артамон принужден был слегка обхватить ее за плечи, но совершенно не поправил дела. Вышла еще бóльшая неловкость: девушка вдруг прижалась к нему, закрыла глаза и как будто вознамерилась впасть в секундное забытие от восторга. Но Катишь предостерегающе кашлянула, и Toinette мигом пришла в себя. Она пролепетала что-то и высвободилась, однако не преминула украдкой пожать Артамону руку своими пальчиками, специально для того набросив на них шаль. Электрический ток от этого нервного, быстрого пожатия, да и вообще присутствие рядом красивого юного существа сделали свое дело: Артамон хотя бы ненадолго забыл о прежнем неудовольствии. Рядом сидела милая, прелестная Toinette, и его видели рядом с ней. Какой прапорщик не мечтает, чтобы его заметили на гулянье с красивой барышней? Потом, возвращаясь в полк, он вспомнил об этом катании и счел Toinette своей «победой»... и совершенно забыл о ней. Артамон был уверен, что за минувшие пять лет Toinette успела выйти замуж.

Обретался в Едимонове и еще один давний знакомый, полковник Владимир Гурка, благодушествующий и разнеженный, как положено в гостях у провинциальных стариков, где к услугам молодых людей все сельские блага, от свежей клубники до романтических прогулок. Гурка, большой любитель рыбной ловли и охоты, обрадовался, что нашел наконец благодарного слушателя. Он тотчас велел отнести вещи гостя к себе к комнату и битый час развлекал Артамона рассказами. Условились в следующий раз вместе ехать на волков... а потом полковник вдруг вспомнил:

– Кстати, тут Ф-в заезжал... вы ведь знакомы?

– Еще бы не знакомы, два года служили вместе. Жаль, разминулись. Да как его занесло?

– Был проездом, вот и погостил денек. Кстати! Тебе, полагаю, будет интересно. Ты ведь в Москве, говорят, во всем этом участвовал, прежде чем уехать, – вот не хочешь ли взглянуть?

Гурка достал из секретера небольшую книжку в знакомом зеленом переплете. Артамон просиял.

– А, так и ты из наших! Ну, брат, я очень рад, это совсем другое дело... Кто тебя принял, откуда у тебя книжка?

– Ф-в по знакомству оставил. Я, признаться, не очень-то вникал, но вообще, говорят, nous avons changé tout ça<sup>15</sup>, – пошутил Гурка. – Общество теперь совсем другое, прежнего только часть осталась, и у них всё не так, как раньше.

– Дай, – нетерпеливо сказал Артамон и принялся листать книжку. На первых же страницах шел список...

Ему показалось, что он ошибся второпях, пропустил строчку. Он просмотрел список еще раз, уже внимательнее... и не нашел в нем своего имени. Было много имен новых, незнакомых, некоторых старых тоже не хватало – но отчего ж исключили из списка *его*, всячески старавшегося быть полезным Обществу, и вдобавок исключили без предупреждения? «Боже, какая несправедливость...»

Артамон закрыл книжку и, стараясь говорить небрежно, произнес:

– Да, это я уж видал. Ты знаешь, я ведь давно не с ними, еще до отъезда от всего этого совершенно отошел. Общество, конечно, дело хорошее, они порядочные люди, и за тебя я рад, но...

Должно быть, он, невзирая на все усилия, изменился в лице, потому что Гурка несколько мгновений с подозрением всматривался в него. Чтобы не быть застигнутым в расстроенных чувствах, Артамон отвернулся, сделав вид, что рассматривает книги в шкафу. В голове стучалась одна-единственная мысль: «Боже мой, какая несправедливость...» От стараний сдер-

<sup>15</sup> Мы все это переменяли (*фр.*). Из комедии Мольера «Мнимый больной».

жаться и ничем не выдать себя даже заболела голова. «Хоть бы предупредили, что ли. Ведь ни один, ни один не сказал! Никита – хорош друг... книжку дал, подпись поставил, а сам...»

Умом он понимал, что Никита и не мог предупредить его. Трудно писать, не зная, застанет ли послание адресата, да и не любую новость, из соображений осторожности, можно сообщить в письме. Никита, напротив, поступил весьма деликатно, не записав прежних сочленов гуртом, без предуведомления в новое общество, цель которого могла еще и не понравиться... Никита, в конце концов, был вовсе не виноват, попросту не следовало питать ни излишних надежд, ни излишнего доверия. Но все доводы рассудка разбивались о злую обиду, о мысль, что Никита нарушил обычай дружбы, что зачем-то – Бог весть зачем – позволил Артамону мечтать и возноситься, иметь преувеличенное мнение о собственной важности, а затем, разом, обрушил с небес на землю, да еще, быть может, и посмеялся. Рассудок твердил, что их с Никитой связывала дружба детская, полузабытая – не дружба даже, а просто взаимная симпатия, как всегда бывает у однокашников, – и не стоило возлагать на нее чересчур большие упования. А обида ехидно напоминала, что, видно, минул век подвигов и верности до гроба, героев и решительных поступков. «Только мы с тобой одни отчаянны». Какой болью отзывались теперь эти слова, так искренне и так некстати сказанные. «Вот тебе наказание за излишнюю горячность... прав был Лунин! Вперед будешь умнее – не связывайся, не связывайся, дурак, мечтатель. Нет, Боже мой, какая несправедливость».

Артамон с ужасом подумал о грядущей поездке в Москву. Больше всего хотелось махнуть рукой и немедленно вернуться в Тамбов, но миновать Москву было совершенно невозможно: ему надавали множество поручений, в том числе и Ламберт. Если от просьб товарищей и родных Артамон еще мог кое-как отвертеться, изобретя благовидный предлог, то от комиссий корпусного командира его избавили бы разве что холера или сломанная шея. Мысль о том, что своих добродушных, хоть и простоватых, друзей и родичей он променял на московских острословов, оплативших ему такой злой шуткой, вернулась с новой силой. «В Москве надо мной и над папашей чуть ли не в глаза смеялись... а я поддакивал. Надо же быть таким олухом! Нет уж, теперь кончено. Интересно, что скажет Никита, если в Москве сойдемся? Будет оправдываться или, напротив, примет вид, что всё так и должно быть? Нет, нет, и думать о том не хочу, *finis*<sup>16</sup>».

День был испорчен непоправимо. Ничто не казалось мило, все в доме Корфов словно напоминало о горьком крушении надежд. Барышни Корф, напрасно старавшиеся втянуть Артамона в разговор, в конце концов слегка обиделись и между собой прозвали его «надутым». Даже старые портреты на стенах как будто глядели насмешливо – «Эх ты, герой!». Даже книги не приносили утешения, раскрываясь на самых неподходящих страницах. Читать о чужих подвигах было нестерпимо, о чужой дружбе тем паче... Дойдя до чужого семейного счастья, Артамон с досадой отложил книгу, отказался от вечернего катания на лодках, ушел в дальнюю рощу и в отчаянии бросился на траву. Радостные лица корфовской молодежи, такой счастливой в дружбе и в любви, довели его чуть не до слез. Рядом с ними он казался самому себе отжившим, дряхлым, многоопытным.

Из рощи видна была излучина, которую как раз с трудом преодолевали две плоскодонки – речка была мелкая, и приходилось не столько грести, сколько отпихиваться от дна. От внезапных рывков дрожали зонтики, барышни испуганно вскрикивали. Вспомнилось, как едимоновское имение, которое старый Корф с гордостью именовал «домом на канале», Захар Матвеевич ехидно прозвал «дом на канаве»...

– Артамон Захарович, вы как будто прячетесь.

Toinette, с зонтиком на плече, смотрела на него из-под нависшей ивовой ветки.

– Это совсем на вас не похоже, – шутливо заметила она.

Артамон молчал. Тогда Toinette, вздохнув, села рядом.

<sup>16</sup> Кончено (*фр.*).

– Вы, кажется, сторонитесь меня... отчего вы не хотите говорить откровенно?

– О чем? – спросил он, и девушка покраснела.

– Ну, давайте говорить, – поспешно сказал Артамон, чувствуя себя виноватым. – Вы, кажется, меня искали...

– И вовсе я вас не искала, – перебила Toinette. – Это случайно вышло.

«Ну что за неладный у меня язык?»

Оба замолчали. Toinette явно хотела, чтобы он заговорил первым, а Артамон, перебирая мысленно всевозможные начала, убеждался все сильнее, что его соседка ждет вовсе не дружеской беседы, а объяснения. На реке, совсем близко, слышался плеск весел, и Артамон вдруг не на шутку испугался: что, если именно теперь бедняжке Toinette вздумается в полуобмороке припасть к его плечу, как тогда, в коляске? Наверняка тут же, как назло, из-за кустов гурьбой появятся старики Корфы, братцы, сестрицы и прочая родня. Он немного отодвинулся, и Toinette, закусив губу, обиженно выпрямилась... Дело было безнадежно испорчено, и Артамон решил: в омут – так сразу.

– Поздравьте меня, Татьяна Алексеевна, я женюсь, – сказал он, понимая, что это звучит жестоко и глупо.

Toinette побледнела.

– Отчего же Катишь мне не написала? – пролепетала она и тут же поджала губы – сообщила, что сболтнула лишнее.

«Ах, сестрица, хитрая лиса! Понадеялась, заодно с папенькой, что, может быть, у нас с Toinette еще и сладится по старой памяти. Ну, теперь уж обратной дороги нет. Toinette нынче ж расскажет *liebe Mamachen*<sup>17</sup>, и через два дня весь уезд узнает, что Артамон Муравьев женится. Тем лучше! Пускай все знают... чай, неловко теперь папаше будет упрячиться. А вдруг именно теперь и вздумает старик показать характер, назло всему свету? Не дай-то Бог!»

Через два часа Артамон уже был в дороге.

---

<sup>17</sup> Милой маменьке (нем.).

## Глава 6

Мучительнее всего было думать о том, как он явится на глаза к Вере Алексеевне – уже не герой, не благородный бунтарь и спаситель Отечества, не рыцарь, а опозоренный мечтатель, не добившийся уважения товарищей, незадачливый жених, получивший отповедь от строгого папеньки. Как смешон и противен, должно быть, покажется он ей – хвастун, армейский фат, каких много в Москве, совсем не тот, за кого она его принимала, да и кем он сам себе казался всего два месяца назад.

«Что, брат? Швырнули с небес на землю? Я обманул ее... она дала согласие тому, кого считала человеком необычным, выдающимся из толпы – и как ошиблась! Так имею ли я теперь право требовать от Веры Алексеевны, чтобы она сдержала слово, или обязан дать ей свободу? Конечно, как человек честный я должен... по сути, мы с ней ничем не связаны... она, верно, скоро меня забудет... Господи, что за пытка! Чтобы объясниться начистоту, нужно будет открыть многое... а я не могу, видит Бог, не могу, стыдно! Просто так порвать, без объяснений – подло, невысказано. Ездил-ездил в дом, был принят, считался женихом – и вдруг на тебе. Сережа или Алексей меня вызовут и будут правы, конечно».

Артамон признал наконец, что совершил опрометчивый шаг, поспешив открыться Вере Алексеевне. Выпутаться из этой истории, не скомпрометировав ее и себя, было совершенно невысказано. Еще глупее было хвалиться товарищам... При воспоминании о дружеских кутежах, на которых его поздравляли как жениха девицы Горяиновой, у Артамона жарко вспыхнули щеки и уши. «Теперь засмеют! Впору из полка уходить». Здравый смысл не подсказывал никакого выхода.

Оставалось одно: приехав в Москву, затаиться, пока дело не решится как-нибудь само собой. В Москве предстояло провести не менее двух недель...

Хорошо было одно: Артамон как отпускной не обязан был ехать в Шефский дом, а мог устроиться по своему желанию. Этим он и воспользовался, поселившись в номерах подальше от Хамовников, в Лефортове, чтобы не столкнуться случайно с кем-нибудь из товарищей, особенно с Сергеем Горяиновым. Тем самым он обрек себя на совершенное затворничество – ни в театре, ни в собрании, ни в одном знакомом доме показаться было невозможно. Артамон скучал зверски... от нечего делать он перечитал всю дрянь, которая нашлась в хозяйском шкафу, привел в порядок медицинские записки, которые собирал в толстую дорожную тетрадь еще с тринадцатого года, наконец, купил у молодца в соседней лавочке гитару и почти выучился играть «Пастушка».

На восьмой день, отправившись с письмом по поручению Ламберта, он не устоял перед соблазном, завернул на Тверскую и чуть не нос к носу столкнулся на тротуаре с Владимиром Горяиновым. Вместо того чтобы завязать разговор и, быть может, изобрести какое-нибудь шутовское оправдание, Артамон сделал еще одну глупость – он сконфузился и нырнул в толпу, но дела отнюдь не поправил. Владимир заметил его и окликнул вдогонку – а значит, нынче же должен был известить сестру, что Артамон в Москве и отчего-то прячется. Отмахав с версту по переулкам до безопасных мест, Артамон остановился перевести дух и только тут, собственно, сообразил, что натворил. Оставалась надежда, что Владимир, быть может, не узнал его, а если узнал, то из товарищеских соображений не станет болтать. Мало ли какие причины могут пробудить в человеке скрытность, и не каждую из этих причин станешь обсуждать с сестрой. С тоски и с досады на собственную несообразительность Артамон, добравшись до дому, в первый и единственный раз в жизни напился в одиночку – напился страшно, до беспомысленности, так что заснул головой на столе. Проснувшись поутру, с таким чувством, словно от виска к виску в голове перекачивали свинцовую пулю, он решил, что дальше так невысказано. Нужно было что-то сделать, чтоб не сойти с ума и не достучаться до беды.

В Москве один был друг, с которым можно было поговорить, – кузен Михаил Лунин, старший товарищ, знавший Артамона с детства и вместе с ним дошедший до Парижа, ныне отставной артиллерийский капитан, человек образованный, умный и беспорядочный, проматывавший свое состояние на книги и на женщин. В Париже Лунин знал и лучшие бордели, и лучших книготорговцев... А главное, он не состоял ни в каком обществе, и с ним можно было говорить, не боясь разоблачений и упреков. Впрочем, добравшись до меблированных комнат, где проживал родич, Артамон нерешительно помедлил в коридоре, прежде чем постучать. Какой совет мог ему дать Лунин, бесстрашный, жадный до земных радостей, никогда не прощавший даже воображаемых обид?

– Pardon, я не один, – донеслось из-за двери.

– Тебя, Michel, никогда не застанешь одного, – с досадой произнес Артамон.

Слышно было, как Лунин босиком подошел к двери.

– Артамоша, ты? Гм... нечаянная радость. Будь другом, голубчик, если не спешишь, подожди в кухмистерской на углу, я за тобой пришлю.

Артамон пошел, куда было сказано, и проторчал там целый час, коротая время за графинчиком водки. Кухмистерская была скверная, но тем меньше была возможность столкнуться там с кем-нибудь знакомым. Наконец прибежал казачок и попросил «пожаловать».

Холостая берлога Лунина была такой же, как во все времена, хоть в Москве, хоть в Париже. Не смущало в ней ни то, что хозяин по пути зашвырнул ногой под диван какой-то сор, ни то, что редкие и ценные книги лежали вперемешку с бельем и завертками табаку, ни громоздившиеся на столе тома «Истории Средних веков», которые казались вполне уместными здесь, в присутствии Вакха и Венеры.

– А ты опять взялся за переводы? – спросил Артамон, кивая на книги, и пошутил: – Воображаю, как ты пишешь, а на коленях у тебя сидит какая-нибудь бебешка.

– Более того скажу тебе, если б их сидело две, я писал бы вдвое быстрее и лучше, – серьезно ответил Лунин и вдруг пристально поглядел на кузена. – А ты, гляжу, уже подрезвился? Тогда погоди разговаривать, сперва сравняемся, – и крикнул водки.

– Ну, рассказывай, – велел он наконец.

Артамон кое-как, с пятого на десятое, рассказал (умолчав, конечно, об истории с зеленой книжкой) и наконец махнул рукой.

– Что рассказывать... всё туман, и никакой ясной цели.

– Помнится, месяца три назад цель была тебе вполне ясна, ежели правда то, что о тебе говорили.

– Что говорили? – живо спросил Артамон.

– А тебе не все ли равно? – лукаво спросил Лунин.

Артамон смутился...

– Ты прав, конечно... мне и вовсе дела нет. Вот именно, три месяца. За три месяца горы можно своротить! А воз и ныне там...

– Ну так брось, – посоветовал Лунин.

Артамон замер.

– Что, так запросто? – с сомнением спросил он.

– Куда уж проще. Если ты сперва согласился по зову души, то не вижу ничего предосудительного в том, чтоб отойти, убедившись, что дело тебе не по нраву. Нет ничего хуже, чем тянуть ляжку, которая осточертела и трет до крови... если, конечно, ты ввязался не ради того, чтоб понравиться. Кто излишне хочет понравиться, тот лезет из кожи вон, и стыдно, и напрасно, а бросить не может.

Артамон подозрительно прищурился. Говорил ли Лунин наугад или прекрасно знал, в чем беда? В голове уже начинало мутиться от выпитого и угадывать истинный смысл слов становилось все труднее...

– Так, по-твоему, нет ничего постыдного в том, чтоб отойти от Общества? – медленно спросил Артамон.

– Поверь, гораздо стыднее продолжать делать то, к чему тебя не влечет. Ежели бы, скажем, на завтра всем братья за оружие или ежели на тебя была бы главная надежда, а ты бы вдруг бросил – ну, тогда другое дело... а у них еще куда до оружия-то дойдет! – Лунин усмехнулся. – К тому же, я слышал, ты женишься?

Артамон вздохнул.

– Не знаю, как на глаза показаться... был героем, стал *der Philister*<sup>18</sup>.

– Глупости! – решительно заявил кузен. – Завтра же ступай... или, вернее сказать, завтра проспись, а послезавтра ступай непременно. Да держи хвост козырем, не вздумай жаловаться – охладет... Ты пред женщиной герой до тех пор, пока она сама в это верит, явись ты хоть не в лаврах, а в синяках. Ведь угадал я? Ты думаешь, она теперь презирать тебя будет, а я тебе верно скажу: если она тебя истинно любит, ей до твоих подвигов дела нет. Если распустишь нюни и своими руками сделаешь так, что она тебя разлюбит, будешь дурак, и ну тебя к черту.

– Странно выслушивать советы от человека, который к прочной любви, кажется, не способен.

– Ты влюблен в одну, я – в десяток, а механизмы одни и те же. Я, братец, бременить себя семьей не хочу и, наверно, так и помру старым холостяком. Надо же мне иметь свои радости?! Но поверь, я меньше всего склонен смеяться над тобой за то, что ты политическим бурям предпочел семейное счастье. Даже в тихой гавани можно много сделать. Когда у тебя будут дети, расти их достойными людьми. Это уж немало...

– Ты думаешь? – с радостью спросил Артамон.

– Уверен даже. Отчаянных много, а порядочных и разумных недостает. Ты, дружок, выбрал свою дорогу, ну и успокойся, иди по ней, не старайся разорваться надвое. С кем нужно в начале ее проститься – простись без ненависти... – Лунин вздохнул. – Ну вот, из-за тебя я пьян и сентиментален. Погоди, вот я прочту тебе одну штуку, слушай внимательно. Ты понимаешь по-английски?

– Откуда?

– Ну, все равно, слушай:

And other strains of woe, which now seem woe,  
Compared with loss of thee, will not seem so.

– Что это? – беспокойно спросил Артамон.

– Это, братец, Шекспир... – Не дожидаясь вопросов, Лунин перевел: – «И прочие беды, которые теперь меня пугают, покажутся не страшны рядом с утратой твоей любви...»

Захар Матвеевич, что называется, разрывался пополам. Корф не поленился – самолично приехал из Едимонова, и старики разругались так, что чуть не дошло до кулачков. Корф намекнул, что «порядочные люди так не поступают! да-с!», а Захар Матвеевич в сердцах крикнул:

– Ты думал, мы твою Гуанету с руками оторвем? Ишь, королева какая! Да мой Артюша кого хочешь высватает, за него любая пойдет! Я вот Алексашке запрещу к вам шляться-то, нечего... больно у вас глаза завидушие!

Потом старики обнялись, поплакали вместе, выпили домашней настоечки и окончательно помирились. Захар Матвеевич на прощанье даже пообещал: «Я ему, Алексашке-то, намекну...»

---

<sup>18</sup> Обыватель, ограниченный человек (*нем.*).

Стороной, от Катерины Захаровны, отец узнал, что Артамон и в самом деле сделал девице Горяиновой предложение. Поначалу он был настроен твердо: сыну дозволения не давать, покуда не покорится. Однако же постепенно старик Муравьев сообразил, что первенец валяться у отца в ногах не собирается и, кажется, намерен вовсе обойтись без папенькиного благословения. Артамон не присылал вестей и вообще как будто пропал. Изливать желчь на младших детей Захару Матвеевичу в конце концов надоело, да и они, утомясь попреками, отвечали все менее почтительно... Волей-неволей отец принужден был сесть и рассудить, как быть дальше.

Словно впервые пришло ему в голову, что непокорный сын поставил под угрозу свою карьеру, да и саму жизнь. Несколько раз Захар Матвеевич, в самом язвительном умонастроении, брался за перо – и всякий раз откладывал. Конечно, можно было написать Горяиновым хулительное письмо, рассориться, припасть к стопам государя и уличить Артамона во лжи, умоляя расстроить недозволенную помолвку... но что же потом? Блистательная карьера сына оборвется на взлете – если государь не разгневается и обойдется без разжалованья, то, чего доброго, все равно придется выйти в отставку. Да и молодые Горяиновы могут счесть сестру опозоренной и прислать вызов. «Не дай Бог, ухлопают дурака... или сам вкатит пулю в лоб которому-нибудь, вот и ступай на Кавказ. А то еще узнает Артюшка, что ему дозволения не дают, да и вздумает увозом венчаться – вот скандал-то будет! Окрутится, выйдет в отставку да приедет с женой на шею мне. Удосужил, голубчик, нечего сказать. Хорошо хоть Корфы угомонились, слава тебе Господи... стыд-то какой!»

Как ни крути, выходило плохо. Захар Матвеевич не выдержал...

Спустя две недели после возвращения Артамона в Москву приехал посыльный из Теремной, отдал записку. «Скрепя сердце благословляю твой брак, будь умен, со свадьбой только не торопись...» Артамон расхохотался от нечаянной радости, запрокинув голову, крикнул в пространство: «Спасибо!» – порывшись в карманах дать посыльному... Не найдя мелких денег, сначала помедлил – «теперь ведь надобно быть бережливей», – но все-таки бросил малому рубль.

Веру Алексеевну он нашел в саду.

– Вера Алексеевна, ангельчик мой... радость какая! отец согласен! Господи, слов не подберу. Вера Алексеевна! Я письмо получил... отец нас благословляет! Ангел, вы счастливы теперь?

Начал он еще на бегу, едва завидев ее, и у Веры Алексеевны, проведенной две недели в мучительном ожидании, не достало сил сердиться. Когда Артамон наконец остановился рядом с ней, схватил за руку и договорил, смеясь и перебивая сам себя, она уже всё простила: и что две недели не подавал о себе известия (хотя был, она знала, в Москве), и что сделал все на выворот, и что теперь, явившись как ни в чем не бывало, даже не извинился. То ли он сразу забыл о доставленном беспокойстве, то ли вовсе о нем не подумал. Но на Артамона, как на ребенка, невозможно было обижаться.

– Вы позволите говорить с вашими родителями?

Вера Алексеевна постаралась принять как можно более серьезный вид.

– Позволяю.

Артамон от избытка чувств даже крутанулся на каблуке.

– Ангел мой!.. Теперь же пойду к ним!

И сорвался с места бегом. Через несколько шагов остановился, едва не запнувшись, вернулся к Вере Алексеевне, поцеловал у ней руку, проговорил: «Люблю вас больше жизни», снова убежал...

Вера Алексеевна только смеялась.

Спустя несколько дней она писала: «Я вас очень прошу, не безумствуйте и, если только это возможно, менее давайте волю своей фантазии, хоть ваши благие побуждения и трогают

меня до слез. До меня дошли слухи, будто вы старались внушить моей матушке, что владеете необыкновенно богатыми поместьями. Пожалуйста, не делайте так более, будьте совершенно искренни с моими близкими. Ведь мы с вами оба знаем истинное положение дел, и всем будет досадно, когда правда выйдет на свет. Моего отношения к вам ничто не переменит, поверьте, богаты вы или бедны. И сами вы завоевали мое расположение, не нуждаясь для того ни в каких прикрасах...»

Ответ пришел скоро. Мелким, но очень разборчивым почерком на четвертушке почтовой бумаги было написано: «Слушаю и повинуюсь, мой ангел Вера Алексеевна, отныне буду слушаться вас во всем, если вам это доставит удовольствие. Записку, кою держали ваши ручки, оставляю у себя и целую много-много раз *comme Roland furieux*»<sup>19</sup>.

Уже на правах жениха Артамон отправился с Горяиновыми в Воронеж, нанести предсвадебные визиты тамошней родне, а кроме того – по сугубому настоянию Матрены Ивановны – в Задонский монастырь. Вера Алексеевна ожидала поездки с легким трепетом... против визитов к провинциальным тетушкам и дядюшкам Артамон, несомненно, не стал бы возражать, но как он отнесется к «богомолью»? Она подумала, как тяжело и совестно ей будет, если он, привыкший к легкомысленной столичной жизни, начнет посмеиваться над привычками ее семьи или даже осуждать их. Конечно, ее отец сам подшучивал над чрезмерным благочестием, однако – Вера Алексеевна в этом не сомневалась – в глубине души верил горячо и в засуху непременно велел служить молебн. До сих пор религиозное чувство Артамона не подвергалось проверке, и Вере Алексеевне спокойнее было считать, что здесь они мыслят одинаково. И все-таки...

Однако Артамон и в Задонский монастырь поехал с таким же радостным любопытством, с каким объезжал хлебосольную воронежскую родню Горяиновых. Вера Алексеевна заметила, что, когда он, приложившись к иконе, отошел, на лице у него застыло детское, немного оробелое выражение. Как будто он о чем-то страстно просил и теперь припоминал про себя, нет ли у него каких-нибудь грехов, которые помешают молитве сбыться.

– Помню, в детстве, – сказал Артамон Вере Алексеевне, выходя с ней из собора, – маменька покойница сласти в шкаф запирала. А мне так уж варенья хотелось. Папенька и подглядывал: стою я в детской на коленках перед иконами, кланяюсь и прошу: «Боженька, Отче наш, дай мне и братцу Саше варенья!» Он скорей за ключами, да вперед меня в буфетную, отпереть тихонько шкаф... Баловал он нас несусветно, дай ему Бог здоровья.

На паперти к Матрене Ивановне, низко кланяясь, подошла невысокая женщина в бурой кацавейке. Вид у нее был болезненный, но на обычную нищую просительницу она не походила. Матрена Ивановна благодушно слушала, однако открывать портмоне не спешила.

Встал рядом молодой монах, послушал и с улыбкой сказал Горяиновым:

– Это странноприимница наша, Матренушка. Вы бы пожертвовали за спасенье души, сколько не жалко. Она себе ничего не берет, все раздает странникам и убогим.

– Мне грех брать, меня батюшка святой Тихон исцелил, – отозвалась Матренушка. – Который год уж собираю на странноприимство, добрые люди подают. Затеяла вот дом строить...

– Домовладелицей, значит, будешь, – добродушно сказал монах.

Матрена Ивановна неодобрительно взглянула на него, зачуввав дерзость, но женщина ласково похлопала монаха по руке:

– Ты, душа милая, шути, ничего. По молодости и пошутить не грех. Ведь они, матушка, – добавила она, повернувшись к Матрене Ивановне, – как помогают! Что бы я без них делала?

Матрена Ивановна, растрогавшись, полезла за деньгами. Артамон тоже заспешил, засуетился, протянул ей две белых ассигнации...

– Не ошибся ли, батюшка? – спросила женщина. – Больно много даешь.

---

<sup>19</sup> Как неистовый Роланд (*фр.*).

Артамон вдруг смутился.

– Отчего же ошибся, – басом произнес он. – Я со своей стороны... лепта вдовицы, некоторым образом.

Алексей Алексеевич тихонько прыснул:

– Вот, матушка, изволишь видеть, как нынче люди-то вдовствуют, – произнес он, обращаясь к супруге.

Матрена Ивановна с досадой дернула плечом:

– Ну тебя к Богу! Балагур!

Артамон понял, что сказал несуразность, но, вместо того чтобы смутиться еще сильнее, в голос засмеялся.

Странноприимница Матренушка медленно, по-старинному поклонилась в ноги.

– Спаси Христос, душа милая. Молиться за вас буду.

Осень в том году затянулась, снег таял, едва выпав. В обычное время семейство в имении томилось бы от безделья, поскольку ни гулять, ни кататься было совершенно невозможно, но теперь, ввиду скорой свадьбы, Матрена Ивановна нашла занятие всем. Сенные девушки с утра до ночи кроили и шили, боясь не поспеть; даже сестриц Веры Алексеевны усадили за работу. Повсюду что-то шуршало, хрустело, хлопало. Сама Матрена Ивановна не покладая рук считала, пересчитывала, чинила, пересыпала персидской ромашкой, то и дело призывала ключницу, чтобы разругать за недогляд, отправляла нарочного в город, чтобы купить то, чего не доставало...

Горяинов-старший, отец семейства, в эти дни не показывал носа из кабинета, опасаясь, чтобы и его не приставили к какому-либо делу. Матрена Ивановна неограниченно властвовала во всем доме, но кабинет оставался для нее святилищем. Когда она, отчаявшись, стучала и требовала от мужа хоть какого-нибудь участия, тот безмятежно откликался:

– Помилуй, голубушка, я этих ваших женских дел совсем не понимаю. Неужто ты и меня хочешь усадить за пяльцы?

– Бесчувственный ты человек, – грозно говорила Матрена Ивановна. – Веринька замуж выходит, а тебе хоть трава не расти!

– Понимаю, матушка, все понимаю... и устраняюсь. Сама посуди – да ведь я только мешать буду.

День, занятый этими хлопотами, тянулся себе... Сестрица Катенька, по малолетству занятая меньше других, первой заметила на дороге за воротами коляску.

– Кто-то едет! Кто-то едет! – закричала она.

Сашенька и Любинька, мешая друг другу, бросились к окну.

– Никак из братцев кто?

– Коляска незнакомая...

– Неужто гости?

– Ах, как некстати!

– Чего же некстати – мы от скуки уже одурели...

– Кто бы это мог быть? У соседей вроде бы такого выезда и нет.

– Уж ты-то все выезды знаешь, – съязвила Любинька.

– Сама, поди, от окна не отходишь, как гости собираются...

Обмен шпильками рисковал превратиться в нешуточную ссору, но тут сестры посмотрели на Веру Алексеевну, стоявшую у другого окна, переглянулись и замолчали. Любинька хихикнула; сестра сердито ткнула ее в бок и что-то зашептала. Тогда Вера Алексеевна как будто впервые вспомнила об их присутствии – и покраснела.

Если до сих пор была еще возможность, что нездешняя щегольская коляска, повернув у сада, проедет мимо, то теперь уже сомневаться не приходилось: гость прибыл именно в Нарядово.

Накренившись в выбоине, коляска въехала во двор. Вера Алексеевна вдруг почувствовала, что ей стало тяжело дышать...

Она отошла от окна. Сестры с удивлением взглянули на нее – именно теперь и надо было смотреть! Лошади остановились у крыльца, и тот, кто сидел в коляске, непременно должен был, выйдя, показаться под самым окном.

– Почему не докладываешь? – загудел на лестнице раздраженный голос Матрены Ивановны. – Гость приехал, а ты зеваешь?

И, словно в ответ ей, со двора, ясно слышимый сквозь двойные рамы, донесся веселый оклик:

– Дома ли хозяйева?

Любинька и Сашенька ахнули. Любинька удивленно повернулась к Вере Алексеевне:

– Вера, Вера, куда же ты?

«Я не могу...»

– К себе, – коротко ответила Вера Алексеевна, прижимая руку к груди.

– Да постой же...

Любинька не договорила – за Верой Алексеевной затворилась дверь.

К себе она, впрочем, не ушла – осталась стоять в коридорчике, закрыв глаза и едва дыша. А дом уже наполнялся голосами, удивленными возгласами, смехом, и на лестнице звучали шаги. Сразу несколько человек вошли в гостиную – сестрицы зашуршали платьями, здороваясь – что-то пискнула младшая, Катенька, которую недосуг было выдворять. Матрена Ивановна, не скрывая удивления и тревоги, сказала:

– Вот уж нечаянная радость, Артамон Захарович... право, не ждали. Здоров ли батюшка?

– Батюшка... – начал он – слишком гулко для маленькой комнаты – и тут же замолчал: Вера Алексеевна открыла дверь.

Артамон повернулся к ней и, все так же наполняя своим голосом весь дом, произнес:

– Вера Алексеевна, мы должны венчаться немедленно.

Не сомневаясь, не задумавшись даже, что, быть может, это шутка, она ответила «да». Тут же Артамон взглянул на нее так, что стало ясно: нет, не шутка. Не было ни любопытных сестриц, ни остолбеневшей Матрены Ивановны, ни Алексея Алексеевича, наспех застегивавшего на себе сюртук, ни тесной гостиной с пожелтевшими обоями... ничего не было.

Только когда начали бить часы, Вера Алексеевна усилием воли заставила себя прислушаться к тому, что говорила мать – говорила уже давно, вконец отчаявшись, что ее выслушают:

– ...и приданое не готово, да и венчаться-то в чем...

– Как, разве в этом нельзя? – с искренним удивлением спросил Артамон, окидывая взглядом домашнее платье Веры Алексеевны.

Любинька и Сашенька наконец не сдержались и прыснули. Матрена Ивановна бросила на барышень испепеляющий взгляд. Послышался голос Алексея Алексеевича:

– Так, я говорю, Артамон Захарович, что за спешка? Неужто пожар?

Судя по всему, он тоже задавал этот вопрос не в первый раз и тщетно пытался добиться ответа.

Артамон несколько раз вздохнул, словно приходя в себя, и наконец отвел взгляд от Веры Алексеевны.

– Отпуск дали на две недели, и только, – произнес он. – А в другой раз не знаю когда дадут... может, еще год ждать. Ради Бога, простите за поспешность – мы собой не располагаем так, как нам хотелось бы...

Алексей Алексеевич наконец справился с пуговицами сюртука.

– Так вы, стало быть, прямо к венцу?  
– Все шутить изволишь... – сердито зашептала Матрена Ивановна.  
– Какие шутки, матушка, я дело спрашиваю.  
– Да, – решительно ответил Артамон. – Я приехал для того, чтобы обвенчаться с Верой Алексеевной как можно скорее. И если бы это можно было устроить в два или три дня, ни о чем другом я бы не мог и мечтать.

Второго ноября венчались у Горяиновых в Нарядове. Сестры Веры Алексеевны от волнения в церкви так шушукались, что даже священник нахмурился: «Если пришли в храм, стойте благолепно – вы не на бале». Артамон старался держаться серьезно, тянулся, как на смотрю, прятал улыбку, чтобы строгий батюшка и ему не сделал замечания. Из всей муравьевской родни был один брат Александр Захарович; он смотрел оценивающе и с неприятным любопытством. После венчания он сдержанно заговорил с Верой Алексеевной по-французски и быстро отошел.

– Какой он у тебя строгий, – шепнула Вера Алексеевна.

Артамон, смущенный холодным приемом, оказанным его жене, виновато ответил:

– Это – ничего, это он отцу подражает... Саша веселый, вот увидишь, и Катя тоже. Она маленькая славная такая была, как птичка, хохотунья... А папенька как возьмется про Очков рассказывать, так заслушаешься. На домашнем театре все вместе играли... – Артамон запнулся, неловко развел руками и грустно закончил: – А теперь вот он, какой театр-то получается.

Вера Алексеевна положила руку ему на локоть:

– Ничего... мы скоро друг к другу привыкнем.

## Глава 7

После венца молодые две недели оставались в Нарядове. Катерина Захаровна, раздраженная скрытностью брата в отношении сердечных дел, дала себе волю в изъяснении чувств и при первом же удобном случае в письме намекнула, что тот, кажется, путает ее карман с собственным. Артамон, и вправду вошедший в изрядные траты в преддверии свадьбы, смутился, сделал попытку вернуть присланную ему тысячу рублей, ответил дерзостью, потом попросил прощения... Иными словами, и он и Вера Алексеевна рады были хоть ненадолго остаться одни, прежде чем нырнуть с головой в самостоятельную жизнь.

В доме пахло старой мебелью, сухими яблоками и немного чердаком. Сами собой потрескивали полы, а по вечерам в пожелтевших стеклышках шкафов вместо одной свечи отражались сразу пять или шесть. Вышитые скатерти и полотенца, тоже пожелтевшие от времени; кровати, на которые по старинке была навалена груда пуховиков; покрытые сетью мельчайших трещинок фарфоровые тарелки, привезенные еще дедом из Саксонии; певучий говор прислуги – все это было уютно и давным-давно знакомо.

Вера Алексеевна искренне радовалась, что они не поехали ни в Москву, ни в Петербург, а остались здесь, где можно было целый день сидеть дома, если вздумается, или бродить по саду, или идти гулять дальше, за деревню, а главное, не видеть никого вокруг и никуда не спешить. Все делалось как бы само собой, обед появлялся на столе, белье стиралось. То, чего Вера Алексеевна ждала и боялась – что ей придется наконец распорядиться и хлопотать самой, без помощи и без совета, – вновь отодвинулось куда-то в неопределенную даль. Матрена Ивановна сама словно поблекла, чтобы не мешать молодым, отступила в сень жарко натопленных хозяйских комнат нижнего этажа. Оттуда она привычно и незаметно управляла домом, и все шло как часы, по заведенному раз навсегда порядку.

Вера Алексеевна жила словно в полусне, чувствуя, что за ней ухаживают, как за малым ребенком, и угадывают каждый шаг. Она и радовалась этому, и робела, совершенно непривычная к тому, чтобы ее одну окружали вниманием и предупредительной заботой. Она пила кофе со сливками, ела свое любимое варенье, почти не выходила из комнат, и слова прислуги, по привычке называвшей ее «барышня», одновременно веселили ее и огорчали. Она радовалась, что может отдохнуть в старом доме, вместо того чтобы сразу мчаться в Петербург, и сожалела, что здесь, при матери, ей не дадут ступить и шагу, словно она хрустальная. И все-таки приятно было ничего не делать, ни о чем не заботиться и ни с кем не видаться... Вера Алексеевна догадывалась, что должна быть благодарна судьбе за это время, что вряд ли оно повторится еще когда-либо.

Погода иногда устанавливалась на несколько часов, порой и на целых полдня, особенно с утра. Становилось свежо и ясно, и можно было идти гулять. Сад был по щиколотку завален старой листвой, которую никто не сгребал. Деревья стояли рыжебурые, только кое-где слабо зеленели пучки замерзшей травы. Поутру все затягивало инеем, и туман в саду висел такой, что не было видно дома, стоило отойти на двадцать шагов вглубь.

Почти сразу за садом начинались деревенские плетни; деревня была маленькая, в десяток изб. На пригорке стояла небольшая каменная церковь с колокольней, на кряжистом восьмиугольном основании. Вера Алексеевна знала, что ее выстроили почти шестьдесят лет назад прихожане нескольких соседних деревень – Троицкого, Ильинского, Покровки, Никулиц и большого села Терентьева, откуда по праздникам являлось до двухсот человек. Она рассказывала это Артамону и улыбалась, как будто ей самой странно было, что в крохотном Нарядове собиралось столько народу. Трижды в год здесь, помимо великих праздников, «при немалом стечении» ходили крестным ходом. И где только помещались все эти люди? Если смотреть из сада, в Нарядове, как в игрушечном Ноевом ковчеге, казалось, всего было по два и не более: две

собаки, рыжая и черная, прибежавшие каждый день к кухне, две коровы, две курицы, мужик с бабой, которые встретились им однажды и поклонились господам, сойдя на обочину. И сами молодые супруги, бродившие об руку по пустынным окрестностям, чувствовали себя единственными на целом свете...

Но вскоре небо затягивали тучи, начинало моросить, задувал ветер, и приходилось возвращаться, иногда почти бегом, если забредали слишком далеко и не успевали спохватиться. Тогда в нижнем этаже, точно в прачечной, до ночи пахло мокрой одеждой, которую развешивали сушить, в буфетной заваривали малину и липу. Матрена Ивановна, слыша, как наверху ходят, смеются и переговариваются, с улыбкой смотрела на потолок и подмигивала мужу. А дождь продолжался, затягиваясь на другой день и на третий, и становилось холодно и тоскливо... Оттого что ее желания угадывались, прежде чем она успевала их высказать, оттого что домашние дела решались без нее, Вера Алексеевна не знала, чем заняться и к чему себя применить. Из любви все словно сговорились водить ею, как куклой, и даже варенье к чаю не давали выбрать самой.

С ранней юности привыкшая думать и беспокоиться о младших, Вера Алексеевна вдруг оказалась одна, и так непривычно было заботиться только о себе. Вдобавок она чувствовала, что пришлась не по нраву мужниной родне, и со страхом ожидала грядущих встреч. С мужем Вера Алексеевна робела, ей – порой до слез – странным казалось, что теперь Артамон может обнять ее, когда вздумается, или посадить к себе на колени. Она уже приучалась заботиться о нем – подавала ему чай, дрожащими пальцами поправляла воротничок рубашки, приглаживала волосы и замирала, когда он, поймав ее руку, принимался целовать пальцы и запястье. Вера Алексеевна с удовольствием замечала, что Артамон тоже робел при ней, с непривычки говорил то «ты», то «вы»...

Давало знать о себе разочарование и удивление, которое зачастую посещает людей, оказавшихся в тесном соседстве и обнаруживших, что их сожитель, оказывается, не любит того-то и того-то, ложится спать во втором часу ночи и, как нарочно, выбирает самые скрипучие половицы, чтобы на них наступить. Оба, как случается со многими молодыми супругами, мучительно осознавали, что теперь подвержены всем дурным настроениям и нездоровьям друг друга, а главное, что на их досуг и душевные силы отныне в любую минуту могут быть предъявлены притязания. Артамон, при своей доброте, был своенравен и вспыльчив: избалованный вниманием родных, он привык, что его желания исполнялись мгновенно. Но и Вера Алексеевна не терпела, чтобы ею распоряжались без спросу. То, как у мужа в минуту раздражения темнели глаза и в голосе прорезались неумолимые стальные нотки, ее и пугало, и словно подзадоривало.

Порой они решительно не могли уступить друг другу в мелочах. Если Артамон вдруг объявлял, что сегодня следует идти гулять или что на обед будет то-то и то-то, Вера Алексеевна, раздосадованная тем, что ее желаниями вновь не поинтересовались, с гневом и удивлением поднимала брови и покачивала головой.

– Очень мило! С тобой невозможно сговориться, Вера, ты сама не знаешь, чего хочешь! – однажды сердито воскликнул муж.

– Я хочу одного – чтобы со мной считались. Я не кукла и не ребенок, которого водят на помочах.

– Какие пустяки, право... тебя попросили оставить рукоделье, чтоб идти гулять, вот уж ты и обиделась. Как можно быть такой щекотливой... пора бы отвыкать от капризов!

Было еще одно, о чем она ни за что не решилась бы сказать ему напрямик: Артамон был требователен и как супруг. Вера Алексеевна, одновременно смущенная, напуганная и счастливая, пока не успела понять, как быть, как отвечать на его настойчивость, вполне понятную в эти дни, но утомительную, доводившую нервы до крайнего потрясения... Вера Алексеевна говорила себе, что она не шестнадцатилетняя девочка, и никогда не отличалась страстным

темпераментом, и всегда считала бурные проявления чувств, даже между супругами, чем-то сродни неприличию. Но, Боже мой, Боже мой, как быстро забывалось все внушенное воспитанием и чтением, оставляя Веру Алексеевну в каком-то полнейшем замешательстве, еще и оттого, что Артамону, казалось, скромность была неведома. Дом словно нарочито притихал в минуты их ласк – и Вера Алексеевна невольно, с легким ужасом, представляла себе многозначительную материнскую усмешку. Впрочем, Матрена Ивановна ни взглядом, ни намеком не давала дочери понять, что радости новобрачных для нее не тайна. Оставалось лишь надеяться, что она избавила от пикантных намеков и зятя.

Вера Алексеевна догадывалась, что Артамон, на свой лад, деликатен с нею – какой же хрупкой и слабой она ему казалась! Она была благодарна мужу за это, хотя и признавала в глубине души, что в девушках, пожалуй, представляла себе брак чересчур... бестелесным.

Когда она тосковала, Артамону становилось страшно. То, что у жены быстро и необъяснимо, по несколько раз на дню, менялось настроение, от смеха к слезам, пугало Артамона до ледяной дрожи. Он не знал, что делать тогда... он тщетно выспрашивал, в чем дело, умолял Вериньку улыбнуться, становился перед ней на колени, предлагал того и другого, уверял: «Скоро поедem в Петербург, там-то и заживем!» – потом сам начинал раздражаться, сидел отвернувшись, пробовал читать жене мораль и, наконец, уходил вниз, или она уходила. Однажды, застав внизу тещу, сидевшую в диванной с вязанием, Артамон не удержался...

– Вы заменили мне мать, и я верю вам как матери, так скажите же откровенно, – потребовал он. – Может быть, Веринька нездорова, а от меня скрывали... нельзя же, в самом деле, здоровому человеку столько плакать!

Матрена Ивановна, не ждавшая такой бурной атаки, вспыхнула.

– Может быть, друг мой, тебе следует у самого себя спросить, отчего моя дочь грустит? Артамона неприятно резануло это «моя дочь».

– Ваша дочь теперь моя жена... да-с. И вместо того чтобы откровенно поговорить со мной, она избегает меня и заверяет, что совершенно всем довольна! Но, может быть, она говорила с вами? Я понимаю, женщине иногда легче пожаловаться матери, чем мужу. Если так, умоляю, скажите мне, отчего она страдает, чтобы я мог поправить дело. Неужели вам меня не жаль?

Горяинова пристально взглянула на него и покачала головой.

– Что же я скажу тебе, друг мой? Ты сначала разбери самого себя беспристрастно... и рассуди, хорошо ли, что ты тайком от Веры бегаешь на нее жаловаться? Ты поговори с женой, приласкайся, расспроси, да не тверди зря, что она тебе не угождает, вот и заживете спокойно, с удовольствием...

Артамон взглянул на тещу помутившимися глазами, словно ему в ответ на душевные излияния принялись читать из прописей, но все-таки ничего не сказал. Он опустил в кресло, обхватил голову руками...

– Да не могу я с ней говорить! У ней один ответ: «Я всем довольна». Когда мы были только женихом и невестой, нам достаточно было сесть рядом и поговорить о чем-нибудь взаимно любимом, и все разрешалось. А теперь, когда мы должны, казалось бы, полностью сблизиться, мы вместо этого удаляемся друг от друга, и я не понимаю почему. Вера постоянно в унынии, а я не знаю, как поправить дело, и меня это угнетает. Ей-богу, тяжело. Не я ли делаю для нее все, что может сделать заботливый муж и друг?

– У нас, помню, в Ярославле один батюшка как-то проповедь говорил и рассказал притчу, – сказала Матрена Ивановна, не отрываясь от вязания. – Два брата женились, жить стали розно, через год повстречались, один и говорит другому: «Не знаю, как и быть, жена мне попалась неряха, непряха, лентяйка. Каждый день ей пеняю, да только все хуже и хуже становится». А второй отвечает: «А мне досталась умница, красавица, любое дело у ней спорится, все лучше да лучше живем. Я ей тоже каждый день о том говорю».

Артамон сердито фыркнул:

– Большой хитрец ваш батюшка, а притча это старая, я ее еще у Лафонтена читал. У нас с Верой все больше сказка про наговорную водицу. Я, признаться, нашу жизнь себе представлял иначе.

Матрена Ивановна поднялась, складывая вязание.

– Что ж, друг мой, мы с моею дочерью тоже чаяли жить по-другому. Однако прошу тебя, на сем закончим разговор. У меня на него никаких сил недостает.

«А у меня? – хотелось крикнуть Артамону. – Как будто я затеял его для забавы! „Мы с моей дочерью...“ Господи, скорее бы в Петербург».

На Введение решено было ехать в Ярославль, а затем уже через Москву в Петербург. Артамон воскликнул сначала: «А я так хотел после свадьбы ехать в Новгород!» – но Вера Алексеевна и Матрена Ивановна совместными усилиями убедили его, что это тяжело, долго и вовсе не по пути. Как ни хотелось ему побывать в родных краях, он все-таки уступил и воздержался от упреков. А Вера Алексеевна словно ожила и принялась энергично распоряжаться сборами. Она искренне радовалась: в Ярославле прошло ее детство, и ей хотелось еще подышать родным воздухом и набраться сил, прежде чем ехать в Петербург. Видя ее веселье, утешился и муж.

В Ярославле Артамон не знал, чем порадовать жену, засыпал ее подарками, накупил совершенно не нужных вещей и вскоре уже стал тяготиться сидением в гостинице. Бывать в обществе и, следовательно, делить с ним Веру Алексеевну ему не хотелось, однако Артамон, не чуждый наивного хвастовства, был не прочь показаться обществу с женой таким образом, чтобы это не вынуждало его тратить досуг на посторонних. Как только установилась ясная погода, он уговорил жену ехать кататься верхом. Для этого пришлось похлопотать и войти в некоторые непредвиденные расходы: подыскать напрокат выездную лошадь и седло, спешно прикупить немного материи и надставить низ юбки. Вера Алексеевна, в душе любившая все необычное, сперва удивилась, потом согласилась. Сначала ездили по улицам, но там всадница в нерешительности останавливалась всякий раз, когда видела пролетку, телегу или резвого ребенка. Удовольствия от такой прогулки было немного, и разговор выходил чересчур судорожный; тогда решили выехать за город, в рощу. На безлюдье, вдохнув свежего осеннего воздуха, Вера Алексеевна оживилась, размялась и заметно повеселела. Артамон, зорко следя за ее лицом, болтал без умолку, тревожился, не холодно ли ей, удобно ли, не скучно, хвалил посадку, натянул поверх жениных перчаток свои, когда у нее озябли руки, и обрадовался, как ловко пришлось. Наконец, он уговорил ее немного проскакать рысью (Вера Алексеевна до сих пор ездила только шагом, а потому сильно робела). К концу прогулки она осмелела настолько, что даже перескочила через лежавшее на тропинке бревно.

– Ничего, ничего, не робей, – подбадривал муж. – Ты, Веринька, наездница хоть куда.

Вера Алексеевна в самом деле, казалось, уверилась, что она «хоть куда». Она не сразу почувствовала, как утомилась с непривычки, зато потом от усталости слезы навернулись на глаза. В голову полезли глупые вопросы: зачем они так далеко заехали, отчего не взяли амазонку напрокат?.. Обрато в город возвращались тесно бок о бок. Вера Алексеевна, совладав с собой и решив ни в чем не упрекать мужа, порой прислонялась к плечу Артамона и даже закрывала на несколько мгновений глаза, если позволяла дорога, а потом со смущением взглядывала на него. Тот, слава Богу, погрузился в военные воспоминания и что-то рассказывал, не особенно заботясь о том, внимательно его слушают или нет.

– Тут, понимаешь, приказ по эскадрону – на учениях всем рубить чучела, обер-офицерам первыми, чтобы подавать пример. А мне лошадь попала новопкупля, неприученная – хоть ты тресни, заходит к чучелу левым боком, не дает рубить. Три проскачки вышло, в строю уж смеются, самому впору сквозь землю провалиться. Я с отчаяния кричу: «Голубчик, миленький, ради Бога, сделай как надо, не срами!» – ну, тут он зашел справа, только все равно не удержался – налетел на чучело грудью и повалил. Хорошо, полковой адъютант меня пожалел,

говорит: «Давайте, Муравьев, теперь лошадьми обменяемся, а после учений избавьтесь вы от нее, за ради Бога, а то намахаетесь. Я знаю, вы коня купили у Красновского – не связывайтесь с ним никогда более, он хуже цыгана...» Да тебе скучно, Веринька, и ты, должно быть, смертельно устала, – вдруг спохватился Артамон. – Прости, ангельчик, я глупости болтаю.

– Что ты, мне вовсе не скучно, – искренне ответила Вера Алексеевна. – Так, значит, ты прямо при всех и крикнул: «Голубчик, миленький»?

Он залился смехом, и она, вслед за ним, тоже, забыв и об усталости, и о суетливых сборах, и о перенесенных хлопотах...

В двадцатых числах ноября они вернулись в Петербург. Дорога была трудная, обоих растрясло. Артамон по мере сил старался развлекать Веру Алексеевну, рассказывал, какая необыкновенная жизнь их теперь ожидает. В его рассказах ее ожидал по меньшей мере роскошный дворец. Впрочем, она уже поняла, что восторги мужа, хоть и несомненно искренние, надлежит разбавлять, и выслушивала его с улыбкой, не спрашивая и не выражая сомнений. В каких бы радужных красках Артамон ни описывал будущее, оно пугало Веру Алексеевну. Петербургская квартира, которую ей предстояло увидеть впервые и которую обставляла не она, новое окружение, незнакомые лица, необходимость самой всё решать и делать... то, что легко и с удовольствием, как игра, принимается женщиной в восемнадцать лет, Вере Алексеевне казалось непостижимо, удушающе трудным.

От страха, от груза новых обязанностей, которые не успели еще навалиться на нее, но уже заранее давили, как неудобный угловатый мешок, ей то и дело хотелось плакать. Конечно, в Петербурге были братья и множество знакомых, но там же была и неприветливая Канкринна, и любопытный свет...

Живым напоминанием о прежней, московской, жизни служило Вере Алексеевне ее «наследство». Оно состояло из полувоспитанницы-полугорничной Софьюшки, купеческой сироты, выросшей в доме Горяиновых, ныне шустрой рыжеватой особы двадцати пяти лет, а кроме того, девушки Насти и пожилого лакея Гаврилы, мужика обстоятельного и молчаливого.

Артамоново хозяйство было и того меньше – одна-единственная душа, денщик Старков, второй год состоявший при своем «барине». С Артамоном он сжился именно так, как сживаются бойкие плутоватые слуги с добродушными и не особенно поворотливыми хозяевами. Старков, ярославец родом, был расторопен, боек, относительно честен и, с точки зрения Артамона, обладал лишь одним пороком. Раз в три или четыре месяца он аккуратно напивался, после чего, спохватившись, в испуге прятался от барина на целый день и не показывался, как бы велика ни была в нем нужда. Загуливал Старков всегда под одним и тем же предлогом – встретил-де кума, нельзя было не выпить. В изобретении мифических кумовьев, разбросанных по городам и весям, денщик не знал никакого удержу. Предыдущий «барин» Старкова со смехом рассказывал, как во время заграничного похода, в Париже, тот, по своему обыкновению, напился, а после оправдывался тем, что «кума встретил». «Ты обалдел, что ли? Какой у тебя кум в Париже?» – «Так нынче ж и покумились, вашбродь», – не моргнув глазом, отвечал Старков.

К Артамону он привязался особенно, поскольку тот искренне восхищался ловкостью своего Труффальдино, прощая ему мелкие грешки, и вдобавок не дрался. Как многие люди, хорошо сознающие свою силу, Артамон брезговал ударить человека заведомо беспомощного. На Старкова он кричал, грозил ему кулаком, иногда давал щелчка, но всерьез не трогал никогда. От необходимости постоянно иметь дело с шумливым беспорядочным баринотипическая ярославская хитрость, вошедшая в поговорку, у Старкова развилась еще более. Так, он взял за привычку запивать исключительно по субботам и являться к барину с покаянным видом на следующее утро, зная, что спросонок тот благодушен и ленив. «Опять пил вчера, морда?» – спрашивал Артамон, когда денщик подавал умыться. Старков всем видом выражал глубочай-

шее раскаяние. «Разбаловался... Попробуй сегодня уйди со двора, я тебе покажу, где раки зимуют», – грозил Артамон. На этом обыкновенно проборка заканчивалась.

Подъезжая к заставе, Артамон что-то начал волноваться, секретничать с Труффальдино и наконец отправил его вперед «поживей».

– Что такое? – тревожно спросила Вера Алексеевна.

– Ничего, ангельчик, это я так просто, убедиться, все ли готово.

У нее закружилась голова... Пока карета катила по петербургским улицам, Вера Алексеевна полулежала, откинувшись на подушки, с закрытыми глазами, прикусив губу.

– Тебе нехорошо, Веринька? – испугался муж.

– Пустяки... я отдышусь.

Артамон, ничуть не успокоившись, застучал в стенку кучеру.

– Стой! Стой! Ангельчик, может быть, ты пить хочешь? Или пешком пройдемся? Укачало тебя? Ради Бога, ты скажи мне только...

Вера Алексеевна сжала его ладонь обеими руками, как ребенок.

– Артамон, пойми... все так непривычно, так ново... мне страшно.

Глядя на нее очень серьезно, муж ответил:

– Мне тоже.

И ей стало немного легче дышать.

– Подъезжаем, – негромко сказал он.

Вера Алексеевна, не утерпев, посмотрела в окно.

– Почему такая толпа, не случилось ли чего?

У подъезда «офицерского дома» ожидали человек двадцать. Едва карета остановилась, кавалергарды, с хрустальными бокалами в руках, рассыпались в два ряда вдоль лестницы, от тротуара до двери. Суетливо забегала прислуга, разливая шампанское. Видимо, все это было придумано заранее. Артамон и Вера Алексеевна вышли... Кто-то скомандовал: «Смирно!» – и молодые офицеры замерли, каждый держа правой рукой у груди полный бокал.

– Нас встречают, – шепотом сказал Артамон. – Ловко придумали, а?

Вера Алексеевна, чувствуя себя особенно маленькой рядом с рослыми кавалергардами, поднималась по лестнице рядом с ним. Она едва переводила дух от радостного волнения и немного от страха. Когда они достигли верхней ступеньки и повернулись, глядя на два неподвижных по-прежнему ряда, Артамон подсказал:

– Поддай знак, Веринька.

Вера Алексеевна кивнула и слегка подняла руку. Офицеры, все враз, поднесли бокалы к губам, залпом выпили – и она даже вскрикнула от неожиданного треска хрусталя, полетевшего наземь.

– На счастье! – крикнул кто-то.

– Ура!

Следом оглушительно грянули остальные. И при мысли о том, что Артамона любят здесь – и готовы принять и полюбить всё, что с ним связано, – Вере Алексеевне стало веселей.

## Глава 8

Квартира в пять комнат, с удобной, хотя и не новой мебелью, показалась ей уютной и веселой. Столы, стулья и шкафы были дешевы, зато прочны, и даже потертые чехлы на креслах ее поначалу умилили. Казенщины и скуки, которой она так боялась, не было помину – все просто и непритязательно, как в семейных пансионах средней руки, где хозяйева больше озабочены благорасположением жильцов, чем модой. Мысленно Вера Алексеевна уже прикидывала, что здесь можно будет подправить и изменить, но пока что ее не раздражали ни облупленные углы половиц, ни сломанная щеколда, ни покривившаяся дверца комода. Вера Алексеевна вдруг поймала себя на мысли, что новая мебель и свежий паркет растревожили бы ее гораздо сильнее.

Артамон, неверно истолковав молчание жены, решил, что та разочарована. Смущенным торопливым шепотом он пустился объяснять, что обставить квартиру заново без особого разрешения будет затруднительно, что каждый предмет где-то там записан и числится... Вера Алексеевна твердо объявила, что всем довольна и намерена отдохнуть с дороги. Оставив жену с m-lle Софи, Артамон взялся командовать слугами, таскавшими вещи. Все старались ходить на цыпочках, помня, что барыня отдыхает, и от того, как водится, шумели еще больше. Старков успел побраниться с Гаврилой, утверждая свое старшинство, какой-то ящик с треском перевалялся через порог, захлопали двери, в буфетной зашуршала Настя... муравьевская квартира оживала.

Вечером к Артамону заглянули брат, Сергей Горяинов и двое приятелей – поздравить с новосельем. Разговор велся все так же пианиссимо, чтоб не беспокоить Веру Алексеевну.

– Что же, ты с отцом помирился? – спросил Сергей Горяинов.

– Да мы ведь и не ссорились.

– А венчались все-таки у нас.

– Папаша добрый... он не будет долго сердиться.

– Кстати, это не у вас ли была история, когда сына-офицера отец наказал?

– Не у нас, а у драгун, – ответил Александр Захарович. – Вообразите! Верста ростом, лет под двадцать – и такой конфуз. В городе он что-то запутался, закутил, проигрался и вдобавок к отцу в имение приехал выпивши. Папаша наутро явился в комнату, где тот ночевал, с четырьмя лакеями и пучком розог. Бедняга от стыда и от боли целый день пролежал пластом. Потом, говорят, папеньке ручки целовал, благодарил за урок.

– Ну вас!.. Глупости какие-то рассказываете. – Артамон покраснел и, чтобы скрыть это, отошел к окну. – Только дразните...

– Вольно ж тебе принимать на свой счет. Кто виноват, что ты до сих пор папеньку боишься?

– А тебе, Саша, стыдно! Похлопотал бы лучше, чтоб нас помирить.

– Пускай Катишь хлопочет, – бесстрастно ответил Александр Захарович. – Она твоя первая потаковщица.

– Ревнуешь?

Брат пожал плечами.

Катишь явилась наутро – полная сил, в модном чепце, шурша широчайшим подолом.

– Представь же наконец меня моей belle-soeur<sup>20</sup>, – потребовала она, многозначительно подчеркнув «наконец», и, не дожидаясь, обратилась к Вере Алексеевне: – Я очень рада познакомиться с вами, chère cousine<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Невестка (фр.).

<sup>21</sup> Дорогая кузина (фр.).

И тут же, едва ошеломленные хозяева успели прийти в себя, воскликнула, звучно шелкнув веером:

– Непременно нужно устроить прием! Иначе просто неприлично, милые мои. Потом можете сидеть отшельниками сколько вам угодно. Ты, Артемон, кажется, совсем одичал за год. В Петербурге, *ma chère cousine*, вы принадлежите в первую очередь свету, а потом уже себе... Лакеев напрокат можно будет взять в клубе, это я все устрою.

Вера Алексеевна удивленно взглянула на золовку.

– Ты не трудись, Катишь, – искренне сказал Артемон. – Зачем тебе хлопотать? Мы сами устроимся. В конце концов, это прелюбопытно даже.

Катерина Захаровна вспыхнула... судя по выражению лица, она раздумывала, оскорбиться или нет. Брат едва ли не впервые гласно отверг ее заботу, беззаботно и бездумно, словно прежнее попечение ничего не стоило, и вдобавок сделал это в присутствии другой женщины. Но тут же графиня Канкрина опомнилась и милостиво улыбнулась.

– Ты, Артемон, посиди здесь, а мы с Верой Алексеевной посекретничаем, – ласково прожурчала она, беря Веру Алексеевну под руку и увлекая в соседнюю комнату.

Там, устроившись в кресле и обмахнувшись веером, она взглянула на невестку испытующе и с любопытством и улыбнулась вновь – но уже не милостиво, а устало.

– Кузина, голубушка, вы не обижайтесь. Просто я опытная, ну и, разумеется, хочу помочь, – объявила Катерина Захаровна со всем пылом двадцатитрехлетней женщины, уже два года прожившей в браке. – Ведь вы, должно быть, в Петербурге не знаете, где и что достать... а мне так хочется, чтобы все у вас было самое лучшее! Вы не затрудняйтесь, право. Если вдруг что-нибудь понадобится, только дайте знать, – она заговорщицки склонилась к Вере Алексеевне. – Артемон, бедняжка, совсем не знает счета деньгам, ну и я, конечно, привыкла его баловать по возможности...

Вера Алексеевна слегка растерялась. Канкрина, предлагая одалживаться у нее без стеснения, в то же время как будто намекала, что брат слишком часто пользуется ее услугами. И как надлежало ее понимать?

Артемон, от волнения расхаживавший по комнате, вытянулся, как охотничья собака, когда женщины показали на пороге.

– Вы не поссорились? – тревожно спросил он.

– Полно, братец, разве мы можем поссориться? – отвечала за обеих Катерина Захаровна. – Мы ведь обе любим тебя, глупого, без памяти.

После ухода золовки Вера Алексеевна некоторое время сидела в задумчивости.

– Артемон, тебе не кажется, что мы слишком часто одолжаемся у Катишь? – осторожно спросила она.

– Отчего же не брать, если она сама предлагает? – удивился Артемон. – Ей это вовсе не обременительно... Они даже и обидятся, если отказаться.

Муж как будто совсем не понимал, отчего Вера Алексеевна чувствовала себя неловко от благодеяний Канкриной. Он, привыкший принимать денежные подарки от сестры и зятя, считал это в порядке вещей и даже удивился бы, если Катерина Захаровна вдруг перестала раскрывать для него свой портмоне. Катишь баловала старшего брата, как добрая безалаберная нянька, которая сует воспитаннику конфеты перед обедом.

– И все-таки, может быть, это не совсем удобно, – настаивала Вера Алексеевна. – Пойми, мне очень приятно, что сестра так заботится о тебе, но...

Он вдруг смутился, даже сконфузился, и странно было видеть почти детский испуг на его лице.

– Боже мой... ты, Веринька, ведь не думаешь, что я смотрю на Катишь как на золотой мешок? Нам с Сашей было бы весьма затруднительно служить, если бы не она, это верно. Но

заверяю тебя, я привязан к ней бескорыстно, с самого детства. Катинька – ангельчик, я ее люблю сердечно... я бы так хотел, чтоб и вы с ней друг друга полюбили!

«Женщины редко бывают по-настоящему теплы друг к другу, – подумала Вера Алексеевна. – Особенно если любят одного мужчину».

Вслух она этого не сказала.

Следующая неделя прошла в непрерывных визитах. От верчения из дома в дом, от необходимости постоянно улыбаться, говорить любезности и выслушивать поздравления у молодых шла голова кругом. Артамону нравилась столь бурная смена впечатлений, хотя к вечеру он и сам чуть не падал от усталости. Вера Алексеевна, обыкновенно измученная до полуобморока, находила еще в себе силы смеяться, когда он в комических красках разыгрывал перед нею сцены минувшего дня. Муж и правда проделывал это уморительно, подмечая в родственниках и знакомых такие черты, над которыми он ни за что не решился бы подтрунивать в свете. Зато в обществе жены можно было дать себе полную волю, к большому обоюдному удовольствию.

За устройство званого обеда, который предстояло дать петербургским родственникам и друзьям, Вера Алексеевна взялась одновременно с жаром и робостью. Оказалось, что в доме нет ни бокалов для шампанского, ни рюмок для мадеры, а есть только простые стаканы для вина; что приборов недостает; что обедать по-московски, в два часа, в столице просто смешно; что велеть Старкову и Гавриле прислуживать за столом – значит совершенно оскандалиться; что обед непременно попадет на Рождественский пост и придется готовить кушанья двух родов; что в Петербурге все значительно дороже, чем в Москве. Узнав, сколько стоят фрукты и сладости, Вера Алексеевна пришла в ужас. Муж, разумеется, передал ей свой портмоне с наказом распоряжаться и тратить без церемоний, но это был жест скорее великодушный, чем исполненный смысла. Портмоне был довольно тощ, и Вера Алексеевна с тоской смирилась с тем, что неизбежно придется влезть в долги. Она все-таки настояла, чтобы всё взятое у Канкриных было непременно возвращено, и Артамон даже обещал, но Вера Алексеевна чувствовала, что ей придется выдержать не одну схватку.

Катерина Захаровна требовала, чтобы вместо отдельного стола с закусками в гостиной их, на французский манер, подавали на подносах гостям прямо за обедом. Егор Францевич передал для сведения Веры Алексеевны, что в лучших домах вошло в моду украшать стол цветами, но ни в коем случае не в вазах. Даже Александр Захарович, дотоле совершенно равнодушный к обустройству семейного гнезда, счел своим долгом заметить, что за вилки с костяными ручками их засмеют и что вообще было бы очень мило и оригинально завести салфетки с вышитыми инициалами. В конце концов решено было устроиться попросту – на закуски пустить копченую рыбу, сыр, *rôté froide*<sup>22</sup> и английскую ветчину, в первую перемену подать вареную индейку с картофелем и баранину *a la Maintenon*, во вторую – дичь, пудинг и бланманже, затем десерт. Артамон просил, чтобы непременно было мороженое, уверяя, что без него никак не может обойтись ни одно порядочное пиршество в Петербурге. Жена, по крайности, убедила его, что без оранжерейных апельсинов можно обойтись наверняка...

Вдобавок Сергей Горяинов, на правах родственника, немилосердно трунил над простодушными московскими нравами и рассказывал чудовищные небылицы, например, что на званых обедах там, как в деревне, подают рубцы, студень и гуся с груздями. Об одном недавнем обеде, где ему довелось побывать, он говорил, округляя глаза от ужаса и, видимо, полагая, что это очень забавно:

– А хозяйка, вообразите, сама обносила нас шампанским и наливала в бокалы! Да и шампанское-то было теплое. Вот так праздник!

---

<sup>22</sup> Паштет (фр.).

– Давно ли, корнет, ты стал таким утонченным конесером<sup>23</sup>? – рассеянно спрашивал Артамон. – На моей памяти ты шампанское не только из бокала, но и из горлышка тянул не задумываясь.

Сергей смущался и умолкал.

– Вы вот лучше рассудите, как мне быть, – со смехом продолжал Артамон, – и кого мне вести к столу – Катишь как министершу или m-me Башмакову как жену моего полкового командира? Вот и изволь тут не осрамиться и не испортить себе карьеры. Тебе, Веринька, легко... женщинам ломать голову не приходится. А любезная Катинька меня живьем съест, коли шелохнусь не так.

– Для Башмаковой непременно постное готовить, – зевнув, напоминал Сергей Горяинов.

– Ей-богу, Веринька, что хочешь говори, но треску к столу подавать как-то даже и неловко. Треска – вещь обыкновенная, ее каждый день есть можно, а при гостях оно не того... Кстати, мне тут рассказывали историю. У одного помещика, когда гости обедали, ставилась на стол ваза с водой, в которой плавала мелкая рыба. Однажды назвал он к себе много гостей, а блюд наготовлено было мало. На нижнем конце сидел один молодчага – уланский поручик. Так вот, когда обнесли его блюдом в третий или четвертый раз, привстает он со своего места, вонзает вилку в рыбку, подает человеку и говорит: «Вели, брат, изжарить – больно есть хочется». Каково?

– Это, должно, в провинции где-то... в Москве...

Вообще же от Артамона было больше веселой суеты, чем подмоги, но с помощью Софьюшки, Насти, Гаврилы и взятого в клубе повара Вера Алексеевна кое-как управилась. Вышло даже дешевле и лучше, чем она думала. Утомлялась она так, что валилась с ног, но, невзирая на все это, ей радостно было являться по вечерам к мужу, по его выражению, с «рапортами» и рассказывать, как она все устроила. Артамон благодарил жену, целовал, хвалил... Будь его воля, он не отпускал бы ее от себя совершенно – он заметно тосковал, если Вера Алексеевна не могла весь вечер просидеть с ним или хоть на минуту отлучалась из комнаты. Даже когда он занимался каким-нибудь скучным делом, то взглядом и словами молил «ангела Вериньку» не уходить. Вера Алексеевна приучилась ласково, но твердо говорить: «Я устала».

Поначалу Артамон обижался и однажды даже буркнул, что достаточно утомляется на службе и желал бы, по крайности, видеть дома радостное лицо. Вера Алексеевна расстроилась и принуждена была уйти к себе. Там она поплакала тихонько... Артамон, видимо, решил выдержать характер и не пошел объясняться, но на следующий день не вытерпел, попросил у жены прощения и долго кружил ее по комнате, держа на руках. Нужно сказать, что скучных дел у мужа оказалось несколько больше, чем Вера Алексеевна ожидала. Частенько Артамон объявлял, что ему нужно «подзаняться», и тогда заваливал весь стол бумагами, над которыми сидел, нахмурившись, один или с товарищем, ежеминутно объявляя, что так невозможно. В полку ждали ревизии, в эскадронах надлежало спешным образом привести дела в порядок и составить отчет для подачи полковому командиру.

– И скажи на милость, откуда здесь эти семь рублей одиннадцать копеек? – с досадой спрашивал Артамон. – Принесли их черти... Была бы тысяча, так хоть не обидно, а то – тьфу, мелочь!

– Бывает, из-за рубля в штрафные роты ходят, – замечал товарищ.

– «От суммы, предназначенной для винной и мясной порции, осталось восемьсот сорок рублей. Также отпущено три тысячи девятьсот пятнадцать рублей на покупку материалов для сооружения склада, экзерциц-гауза и конюшен для эскадронных лошадей». – Артамон читал монотонно, словно зубрил урок наизусть. – Кстати говоря, мне Шепинг за Ларчика восемьсот рублей дает. Соглашаться или погодить?

---

<sup>23</sup> Знаток (от фр. *connaisseur*).

– Как хочешь... пожалуй, продавай. Только требуй с него всех денег сразу, а не по четвертям. «Ремонтных денег по семьдесят пять рублей в год». Или не продавай...

При гостях Вере Алексеевне было неловко сидеть; но если муж «занимался» один, она обыкновенно выходила к нему с книгой или с работой, чтобы не скучать, хотя читать при нем было затруднительно. Артамон никакого дела не умел делать тихо – постукивал карандашом, барабанил пальцами по столу, бормотал, шаркал ногами. Если что-то не ладилось, он жаловался, что темно или стол качается, наконец объявлял, что здесь заниматься не может, сгребал бумаги и уходил к себе. Но вскоре Артамону становилось скучно сидеть одному, и история начиналась с начала.

Все было ново, непривычно и немного страшно. Хотя Вере Алексеевне и хотелось выступить в роли хозяйки дома, в то же время она жалела, что нельзя сделать так, чтоб было не нужно званого обеда, гостей, мороженого. Временами она очень хотела сказать и Артамону, и всем остальным, чтоб ее пожалели, оставили в покое. В такие минуты Вера Алексеевна вспоминала, что вокруг незнакомый и нелюбимый город, и ей становилось тоскливо. Однажды, после целого дня хлопот и беготни, она расплакалась так, что чуть не упала в обморок. Муж, едва не свернув стол с бумагами, засуетился вокруг нее, поднося воду, платок, уксус...

– Тебе дурно, Веринька? Ты больна, может быть? Ты только скажи откровенно...

– Оставьте меня, пожалуйста, оставьте, – шепотом просила Вера Алексеевна. – Мне тяжело... скучно!..

– Скучно, ангельчик мой? Давай поедem куда-нибудь, развеемя, ты только прикажи.

– Нет, нет, это я так сказала... ничего не надо, вы не понимаете.

Наконец он выпрямился и обиженно поджал губы.

– Очень мило... Если ты не больна и не скучаешь, отчего же ты всё плачешь?

Она молчала, вытирая слезы и хлюпая носом, как девочка. Муж стремительно заходил по комнате. Вера Алексеевна видела, что ему тоже страшно и тоскливо – и оба не умели сказать этого друг другу.

– Может быть, я обидел тебя?

Вера Алексеевна покачала головой.

– Если ты не хочешь, не надо никаких гостей, никакого обеда, ну его к черту, – предложил Артамон. – Пускай обижаются... Нам их не надо!

– Что ты! – воскликнула Вера Алексеевна, несколько испугавшись его пронизательности. – Как можно...

Он замер, беспомощно прислонившись к окну и глазами спрашивая: «Что же мне делать, Веринька? Ты тоскуешь, мне страшно... неужели это так должно быть? Как нам с тобой жить?» – «Не знаю, – искренне отвечала та. – Время идет, а мы все никак не можем привыкнуть».

Чтобы избежать столпотворения и лишних расходов, было решено, что молодежь будет подходить к столу с закусками в гостиной или явится к чаю, а в столовой подадут обед только для самых важных персон, числом около пятнадцати. Егор Францевич, как и ожидали, прислал весьма любезное письмо с извинениями и наилучшими пожеланиями. Вера Алексеевна решила, что это очень деликатно с его стороны. Он не счел бы их обед чересчур скромным, но присутствие его высокопревосходительства, пожалуй, стеснило бы остальных. Зато Катинь явилась и заняла место по левую руку хозяина дома. По другую сторону устроилась полковница Башмакова, которая, слава Богу, избавила Артамона от сомнений, какую из дам вести к столу, и без всяких церемоний подала ему руку сама, как только лакей объявил, что кушанье поставлено.

Полковая молодежь, собравшаяся в гостиной, оказалась очень мила и учтива. Вере Алексеевне поднесли купленный складчину сервиз для шоколада и к нему конфетницу из золотистой фольги, в виде античного храма.

– Только не позволяйте мужу таскать сладкое перед обедом, – сострил кто-то.

– Шутки шутками, а я помню, как мы в Баварии... Приятели мои, едва устроившись, поехали добывать вина, а я искать кондитерскую.

Артамон был в совершенном восторге: помимо всего прочего, государь император, встретив ротмистра Муравьева в дворцовом карауле, поздравил его и посулил подарок «на зубок». Артамон познакомил Веру Алексеевну со своим двоюродным братом, капитаном лейб-гвардии Сергеем Муравьевым-Апостолом, и посетовал, что второй брат, Матвей Иванович, в отъезде. Вера Алексеевна подивилась общей муравьевской черте – внимательному тяжеловатому взгляду. У Сергея Ивановича глаза были всезнающие и насмешливые, как на портрете молодого Вольтера. Отчего-то, глядя на него, Вера Алексеевна вспомнила Никиту и тихонько спросила мужа:

– А отчего Никиты Михайловича нету?

Муж как будто слегка смутился.

– Не знаю, Веринька. Должно быть, занят.

Он скрыл от жены, что, желая избежать неприятной встречи, отослал приглашение из всех родственников только Сергею, а в остальном решил положиться на волю Божию: если Никита и Александр Николаевич, из родственных чувств, сами нанесут ему визит, так тому и быть. Они не явились.

– Вы, кажется, ровесники с моим мужем? – спросила Вера Алексеевна у Муравьева-Апостола.

– Как можно, Сергей Иванович на два года младше, – ответил вместо кузена Артамон, таким тоном, словно жена предположила полную несуразицу. – Два года полных, да еще пять дней.

– Как вы, однако, пресерьезно это считаете.

– Нельзя иначе, – ответил Сергей Иванович полушутя. – У Муравьевых старшинством считаются до дня, а родством до десятого колена.

В гостиной, где подали чай, былолюдно и весело. Помимо армейской молодежи, явились и несколько юношей в штатском, родственников или приятелей. Один из них, семнадцатилетний студент, хилый и восторженный, засыпал хозяина вопросами, к большому удовольствию окружающих.

– Скажите, господин ротмистр, что, по-вашему, в бою самое опасное?

– Это смотря в каком бою, – серьезно ответил Артамон.

– Что значит в каком?.. – Юноша беспокойно переступил с ноги на ногу. – В бою вообще!

– Голубчик мой, не бывает «боя вообще». Если, скажем, два конных строя – это одно, а если пушки против пехоты – совсем другое. Если опять-таки у одних сабли, а у других пики...

– Ах ты господи! – нетерпеливо сказал юноша. – Ну хорошо, предположим, вы в бою съедетесь с противником и начнете рубиться, что тогда самое опасное?

– Когда противник левша, – с уверенностью ответил Артамон, вызвав общий смех.

– Да скажи ты ему наконец, кузен, что в бою самое опасное струсить, не мучай его! – воскликнул Сергей Муравьев. – Он на эту тему целую речь заготовил, да никак подвести не может.

Разговор завертелся вокруг войны – заговорили о случайных встречах. Кто-то вспомнил, как при отступлении сошлись на обочине отец с сыном и расстались навеки. Сергей рассказал, как несколькими часами разминулся с Артамоном в Гейдельберге и как встретил двоюродного брата Николая, шагавшего пешком, с двумя патронными сумами и двумя ружьями за плечом (солдаты их батальона падали от усталости, и офицеры, отдав лошадей под выюки, все взялись пособить). От воспоминаний о встречах перешли к разговору о подвигах, о том, как люди исключительно робкие на войне проявляли недюжинную храбрость, а храбрецы пасовали

перед досадными мелочами мирной жизни. Артамон, убежденный в том, что сегодня ему будет прощена любая дерзость, сострил, глядя на кузена:

– Вот Сергей Иванович, например, теперь с дамами робеет, а какой удалец был в двенадцатом году.

– А ты, гляжу, сейчас орел, а летом в Москве две недели прятался, пока письма от отца ждал, – с улыбкой мгновенно парировал тот.

На мгновение повисла тишина... а потом мужчины грянули хохотом. Присоединились к ним и дамы. И совершенно искренне заливался Артамон, хлопая себя ладонью по коленке.

– Ну, Сережа, тебя голыми руками не возьмешь, – отдышавшись, с восторгом проговорил он.

– Кушайте на здоровье, – ответил тот, как уличный разносчик, нарочито ударяя на «о». Дамы снова засмеялись.

Вообще обед удался, хоть хозяева и устали до крайности. Артамону, привыкшему к шумным многолюдным обществам, было легче, но Вера Алексеевна чрезвычайно утомилась и в душе была рада, что муж никого не задержал разговорами и просьбами посидеть еще. Распорядившись убрать со стола, она опустилась в кресло в гостиной. Ее зазнобило вдруг. Артамон, тихонько подойдя, коснулся плеча жены – Вера Алексеевна решительно отвела его руку.

– Прости, я устала... я хочу побыть одна.

Он, должно быть, почувствовал что-то...

– Ангельчик, ты довольна? Тебя не обидел ли кто-нибудь?

– Нет, Артамон, нет, – начала Вера Алексеевна и поняла, что сдерживаться не в силах. – Зачем, скажи мне, зачем ты над этим смеялся?

– Над чем? Ах, это... Веринька, да ведь в самом деле забавно. Вспомню, так смех берет – бегал по Москве, как заяц, и...

– Тебе смех... – перебила она, не договорила и прикусила губу.

– Веринька, полно! Сережа пошутил, просто пошутил, и только. Нельзя же так серьезно, в самом деле. Ведь, честное слово, ничего страшного не случилось, и я уже не...

Вера Алексеевна поднялась.

– Артамон, пожалуйста, подумай наконец не только о себе!

Она молчала, разглядывая корешки книг в шкафу, муж стоял и хмурился...

– Мне ведь тоже было нелегко, – медленно проговорил он. – Честное благородное слово, я вовсе не развлекался в те две недели, пока ждал ответа от отца.

– Ты хотя бы понимаешь, что я пережила? – спросила Вера Алексеевна, обращаясь к книгам. – Я думала, что была обманута или обманулась, что это все было не всерьез... неужели тебе даже в голову не пришло, как я мучилась?

– Честное благородное слово, – начал Артамон, но вспомнил, что уже это говорил, и замолчал.

Наступило то неловкое, тяжелое молчание, когда оба не знали, что делать. Выйти из комнаты, не говоря более ни слова, значило объявить ссору. Обоим не хотелось ссориться – как делали, по слухам, другие, с театральными жестами, хлопаньем дверьми, с выканьем и непрерывным запираанием в комнате. Глупо, грубо, оскорбительно... Но они не знали, как говорить друг с другом, и обоим было мучительно. Вера Алексеевна опять вспомнила, что, не считая мужа, в Петербурге она совсем одна. Родители и прежние друзья остались в Москве, а здесь были неприятно-внимательная Канкринина, насмешливый Александр Захарович, строгие офицерские жены – настоящие петербурженки...

Кто-то был должен заговорить первым, и Артамон наконец решился. Он испугался, что Вера Алексеевна сейчас уйдет и он останется в комнате один, с неизбежным чувством вины и досады.

– Я не говорил тебе прежде, ты не знала, – начал он, мысленно выругав себя за бессвязность, – не только в отцовском письме причина... если бы только в нем, я бы примчался, честное слово, я бы провел те две недели подле тебя! Я не решался...

Он подошел ближе, и Вера Алексеевна, увидев его отражение в стекле шкафа, обернулась от испуга.

– Тебе было плохо, мне было плохо... мы не сказали друг другу об этом прежде, прости, я должен был объяснить.

Она бессильно опустилась в кресло; муж сел рядом, на пол, прислонившись головой к ее коленям, и принялся рассказывать:

– Помнишь, Веринька, мы с Никитой к вам приходили обедать, и Никита жаловался на всякие непорядки и прочее? Это он не просто так... Зачем только они сразу не разуверили меня, что нуждаются во мне? Что ж, если им не хотелось... я бы понял, честное слово. Вовсе даже и свинство – знать, что я готов на подвиг, а потом взять и вычеркнуть. Ведь я хотел подвиг совершить, Веринька, чтоб быть достойным... – Он вдруг смутился и договорил шепотом: –...тебя.

– Погоди, Артамон. Я не все поняла. Откуда тебя вычеркнули и кто? Никита?

– Он, понимаешь, основал общество, чтобы привлекать в него благородных, нравственных людей и сообща бороться со злоупотреблениями. Мы еще в юности мечтали что-нибудь такое... Это все очень хорошо было и героично, ей-богу.

Вера Алексеевна не знала, плакать или смеяться, слушая про общество, устроенное Никитой для благородных нравственных людей, и про то, как вычеркнули оттуда Артамона. Поэтому она только плакала, жалея его и себя и угадывая, как ему было больно и стыдно. А Артамон вдруг на мгновение похолодел: хорошо, что она спросила, какое такое общество, а не какой подвиг. Смог бы он солгать ей тогда?..

– Боже мой... и ты правда думал, что я разлюблю тебя, если ты не совершишь подвига?

– Да.

– Послушай, – тихо сказала Вера Алексеевна, перебирая ему волосы. – Я полюбила тебя не за то, что ты обещался совершить подвиг, или мог бы, или хотел его совершить. И никаким подвигом ты не завоевал бы моего расположения вернее, чем уже сделал это. Я буду любить тебя и не разлюблю, даже если никогда во всю жизнь твою Бог не даст тебе великого дела и ты не свершишь ничего сверх того, что будут требовать от тебя честь и долг. Может быть, когда-нибудь мы посмеемся еще над тем, что было, – проговорила она. – Но не теперь... пожалуйста, только не теперь.

## Глава 9

На следующий день с утра принесли письмо от Матрены Ивановны. Артамон хотел сначала оставить его дома, чтобы прочесть вечером, потом испугался – вдруг Вера Алексеевна, увидев подпись матери, без него прочтет письмо, сочтя его адресованным себе? Оно, еще даже не распечатанное, отчего-то встревожило Артамона, хотя, казалось бы, что могло такого быть в письме от родной матери, чего не следовало знать Вере Алексеевне? Он велел Насте не говорить барыне, что приносили почту, забрал письмо, носил его с собой весь день и, прежде чем ехать домой, прочел, стоя позади манежа.

Матрена Ивановна, отъезжая из Нарядова в Москву, писала зятю:

«Любезный друг Артамон Захарьевич! Я решилась говорить с тобою на бумаге, для того единственно, чтобы рассуждение мое ты мог видеть яснее. При наших же изъяснениях личных более говорил всякий себе для поддержания в праведности. Чтобы найти свое спокойствие, с того начинаю, любезный друг, что я, видев свою дочь почти ежедневно в слезах утопающую, а тебя в беспомощности видя, не могу равнодушно видеть сего. Дочь моя чрезмерно чувствительна от природы, живого свойства, самолюбива, знает себе цену, нетерпелива до крайности – ежели все эти качества тебе не ндравятся теперь, но ты их знал прежде, и даже от тебя не скрыла, что она изнежена и несколько прихотлива, а потому и неспособна переносить во всех обстоятельствах трудную жизнь в супружестве...

Вы мне поклялись, что все силы употребите для споспешествования ее жизни, словом сказать, вы взяли на себя составить ее счастье и мне благополучие. Этот разговор я имела с вами, быв засыпана всякими уверениями и обещаниями, поверила вам и тут же отдала вам дочь мою и с нею всю жизнь мою. Теперь, любезный друг, я спрошу тебя, оправдал ли ты мою доверенность, утешаешься ли вашею жизнью. Неужели все обстоятельства, все сцены оскорбительные и даже унижительные для вас обоих происходят от дурного ндрава моей дочери? Пожалуй, мой друг, разбери себя беспристрастно, я о том умоляю тебя, и тогда увидишь, что ты несравненно более виноват в горестях и всех распрях, а именно тем, что ты принял слишком рано то, что зовется властью мужа, употребляя самую жесткую манеру с женою умною, чувствительною и почти одних лет с тобою... Ее родители и все семейство сохраняли всевозможную деликатность и дорожили спокойствием ее, во всяком шаге угадывали все желания ее, и вдруг она видит себя в таком ужасном переломе во всех отношениях жизни своей, видит человека, которого она чрезвычайно любит и с которым ожидала вечного и постоянного счастья, который обижает ее. Она впервые видит судью строгого и неготового к снисхождению, до того что самая ничтожность в минуту выводит его из терпения, ежели негромким изъяснением досады или жестом она показывает ее. Припомни, любезный друг, я со слезами просила тебя, когда вы отъезжали, чтоб обходиться с нею с большою нежностью и что доброю манерою, пользуясь ее сильной привязанностью и доверенностью, сделать все можно. Кто может знать ее более меня? Поверьте, сердце ее не расположено к своенравию, она спора и невоздержанна, но всегда готова к жизни миролюбивой в семействе, тем боле с мужем, которого она как душу любит, в чем сумлеваться тебе нельзя. Если бы она не питала сих чувств, она бы не была и женою твоею. Она твоему приезду обрадовалась столько, ежели бы ангел с небес сошел, она бы и тому не более рада была. Теперь заключу мое мнение советом моим, который не прими, мой друг, за урок тебе, а прими его как бы от твоей почтенной матери за желание вашего спокойствия. Первое, ты должен быть с ней во всем откровенен и чистосердечен; нет жены, где бы она видела обманутою себя, а ты бы мог сохранить ее доверенность себе и должное к мужу почтение. Второе: необходимо нужно умерить тебе пылкость твоего ндрава, которая ее до отчаяния доводит».

Артамон, совершенно ошалевший, выронил письмо из рук. «Не может быть, чтоб все было настолько серьезно! Я, конечно, бываю вспыльчив и шумен, – признал Артамон, – но я не груб и не жесток, мне это и вовсе не свойственно... Видит Бог, никогда в голову мне не приходило быть грубым с Веринькой! Боже мой, неужели все так скверно, а я попросту слеп?» Он подавил желание броситься домой немедля, убедиться своими глазами, что Вера Алексеевна по-прежнему жива и здорова, расцеловать ее, уверить в своей любви...

Вместо этого Артамон подобрал письмо и принялся перечитывать. «Это правда, Веринька умна и чувствительна, а я чужих свойств разбирать не привык. Чуть что не по мне, сразу готов вспыхнуть, рассердиться, наговорить обидных слов. Но нельзя же вести себя с женой, как с товарищем по казарме!»

Он вынужден был признать, что урок вежливости, полученный от тещи, оказался чрезвычайно чувствителен для самолюбия. «Конечно, будучи женихом, я всячески старался выказаться с наилучшей стороны, это правда, но ведь всякий так делает... Однако же дражайшая *belle-mere*<sup>24</sup> как будто метит посорить нас! Видно, она уже уверилась, что Веринька никогда ее не покинет, и тут вдруг такая оказия». Артамон вспомнил, как Вера Алексеевна однажды с горечью сказала: «Некоторые считают семью местом, где все позволено, где нечего стесняться». Теперь он мысленно согласился с ней: «Да, перед посторонними людьми, которые для нас ничего не значат, мы всячески стараемся скрывать свои недостатки, чтоб нас не осмеяли, зато являемся во всем безобразии перед теми, с кем связаны навеки».

Он развернул последний, оставшийся недочитанным, лист письма – это оказалось завещание. «В случае внезапной моей смерти приказываю и прошу наследников моих отдать дочери моей Вере Муравьевой вологодские мои деревни и мужеска пола сто шестьдесят душ или заплатить пятьдесят тысяч рублей, ибо я теперь за скоростью времени сделать сего законным актом не успела, быв уверена, что воля моя исполнена будет достойными детьми моими». Внизу стояла коротенькая приписка: «Согласен с волею жены моей, это и мое мнение также. Алексей Горяинов». Артамон улыбнулся, живо вообразив себе, как дражайшая *belle-mere*, закончив письмо, поворачивается к мужу и гневно требует: «Не сиди как пень, напиши хоть слово!»

– Тебе, ангельчик, от маменьки письмо, – сказал он, вернувшись домой, и тут же спохватился, что лист развернут, но было уж поздно.

– Ты прочел?.. – спросила Вера Алексеевна, удивленно поднимая брови.

– Прости, Веринька, я случайно развернул. Впрочем, кажется, там ничего личного и нет.

Она принялась читать, сначала недоверчиво нахмурилась, потом просветлела, протянула мужу письмо...

– Видишь, я теперь тоже наследница и богата, – с улыбкой сказала Вера Алексеевна. – Тебе уж больше не придется жалеть, что взял бесприданницу.

– Как будто я когда-нибудь жалел об этом!

Вера Алексеевна, продолжая улыбаться, отстранила протянутые руки мужа, погрозила пальцем, перевернула лист, явно ища продолжения...

– Как, больше ни слова? Маменька даже записочки не прислала?

– Не было записочки, ангельчик, один только лист мне Сережа передал, – соврал Артамон, подумав, что завтра же надо будет условиться с Сергеем Горяиновым.

Горяинов, впрочем, узнав о материнском завещании, не спешил радоваться за сестру. Он сначала недоверчиво фыркнул, потом надулся.

– Однако! – обиженно произнес он. – Отчего ж не Софье или Алексею, как старшим? Отчего, в конце концов, не поделить поровну между нами всеми? Впрочем, неудивительно... маменька Верку всегда любила больше других, уж и не надеялась, что та замуж выйдет.

<sup>24</sup> Теща (*фр.*).

– Если вы, корнет, не в состоянии найти добрых слов для своей сестры, то извольте выражаться с должным уважением о моей жене! – резко сказал Артамон.

– Это даже и несправедливо, в конце концов. Нечего сказать, подложила мне маменька свинью... премного благодарен!

Артамон нехорошо прищурился, и Горяинов прикусил язык. Но обида взяла верх.

– Ну зачем Вере Новненское и Кондрашино?! Она, слава Богу, за тобой не бедствует... ты наследник, и сестра у тебя министерша, и в полковники тебе через год-другой выйдет... а мне бы эти пятьдесят тысяч так кстати пришлось!

– Смотри не ходи с этим к Вере Алексеевне, не расстраивай ее, – предупредил Артамон.

– Только чтобы не омрачать ваше семейное счастье, учти. У тебя восемьсот рублей в долг будет?

– Я тебе и тысячу найду... Смотри же, если Веринька спросит про письмо, говори, как условились!

## Глава 10

В сентябре, когда отошли лагеря, женился и Александр Захарович – на Елене Корф. Венчаться решено было в Теробонях, у отца, и старик Муравьев самолично прислал старшему сыну и невестке письмо, исполненное вежливой кислотой, с намеком, что недурно было бы им наконец «нанести визит». Невзирая на кислоту, Артамон решил, что это добрый знак: папаша сменил гнев на милость. Можно было надеяться, что Захар Матвеевич, умиленный браком младшего сына, не станет портить праздник нотациями. Катись прислала записочку и от себя, не преминув заметить, что Toinette Корф уже замужем. «Ужась что за кривляка», – добавила она. «Быстро же ты, сестрица, ее разлюбила», – с улыбкой подумал Артамон.

Вера Алексеевна вспомнила, как минувшей осенью, подъезжая к Петербургу, испуганно сжимала руку мужа. Теперь он делал то же самое, и его рука заметно вздрагивала.

– Ты только не беспокойся, – уговаривала Вера Алексеевна. – Твой отец добрый, хороший человек, он так тебя любит...

– Добрый-то добрый, – опасливо говорил Артамон. – А ну как рассердится?

Впрочем, вышло даже лучше, чем они надеялись. Все оправдательные речи вылетели у Артамона из головы, как только, вступив в прохладную низенькую гостиную с желтыми полами, он увидел отца.

– Папенька, вы ведь нас так и не благословили, – сказал он.

Вера Алексеевна опустила на колени рядом с ним, крепко держась за локоть мужа. Захар Матвеевич хотел, видно, что-то сказать, гневно пошевелил бровями, но не подобрал слов. Махнув рукой, он снял со стены старинный образ, благословил молодых и тут наконец-то дрогнул – обнял и перекрестил сына, потом деликатно приложился жесткими губами ко лбу невестки.

– Ничего, ничего... дай Бог. Все-то вы, молодые, норовите по-своему, не по-нашему. Мой батюшка, а твой дед за такое своеволие тебя бы в загривок благословил. Нравный был старик... да. Восьми лет меня в службу определил, и не чичирк. А я – ничего, я прощаю... Что раньше не бывал?

– Совсем времени нет, – смущенно отвечал Артамон.

– Совести у тебя нет! Забыл отца... Хоть бы за зиму съездил раз – чай, отпуск бы дали.

Не переставая ворчать, старик взял Веру Алексеевну под руку и повел по дому. Артамон, шагавший следом, пуце всего боялся, что отец, полный родовой боярской гордости, вздумает намекать, что они ее «осчастливили». Однако невестка явно понравилась Захару Матвеевичу. Он изложил ей всю семейную историю, начиная с боярского сына Ивана Муравья, показал портреты покойницы жены и двух дочек, умерших в раннем детстве, похвастал героическим предком, в честь которого крестили Артамона.

Захар Матвеевич как будто в равной мере гордился и своеволием сына, и собственной строгостью. Он с удовольствием рассказал Вере Алексеевне, как в одиннадцатом году Артамон, с детства записанный в Коллегию иностранных дел, вдруг вздумал поступить в училище колонновожатых. Артамон проявил недюжинную сообразительность: из Москвы послал прошение, желая выйти из коллегии «для избрания другого рода службы», и написал отцу не раньше, чем получил положительный ответ. Он ожидал, что старик Муравьев обойдется письменной распекацией, но отец внезапно нагрянул в университет самолично. Сын, которого вызвали в директорский кабинет, едва успел увернуться от пущенной в него с размаху табакерки. Артамон горохом скатился с лестницы, а вслед ему гремел родительский голос: «Я тебе дам своеволичать! На глаза не смей казаться!» Откинувшись на спинку кресла, изнемогший Захар Матвеевич пожаловался попечителю: «Не выйдет из Артюшки ничего путного. Сколько я порогов обил, чтоб в эту коллегию его записать! За что мне такая мука мученическая?» Поведав

эту поучительную историю невестке, старик Муравьев вздохнул и вслух признал: «Повезло Артюшке, дал Бог умную жену!» Артамон, уже смирившийся с тем, что женин ум всякий раз ставили превыше его собственного, только усмехнулся. Вера Алексеевна, разглядывая писанные новгородским умельцем портреты, на которых один глаз непременно был больше другого, почувствовала, как отлегло у нее от сердца.

Когда свекор отпустил их, они пошли гулять – неспешно пересекли луг, взошли на мостки, посмотрели на старые ветлы. Артамон рассказывал – здесь он в детстве катался на льду и однажды угодил в прорубь, тут стояла старая купальня, там росла дуплястая ива, на которую так славно было лазать, играя в разбойники. По словам Артамона, рос он совершенным недорослем, полгода проводя в городе, полгода в деревне. В двенадцать лет из них с братом наездники и псари были лучше, чем грамотеи. О детских забавах он рассказывал с искренним удовольствием и, видно было, совсем не жалел, что в родительском доме его не обременяли ученьем. Захар Матвеевич читывал разве что календарь и сонник, но Елизавета Карловна, большая охотница до книг, особенно сентиментального толка, все-таки приучила старшего сына к чтению, пускай и беспорядочному.

– А это что такое? – спросила Вера Алексеевна, указывая на недостроенное и, очевидно, заброшенное кирпичное здание на другом берегу речки. Артамон, казалось, смутился.

– Это... папаша стеклянный завод задумал строить. Может, еще достроит.

– Сколько же у вас душ, если достанет набрать рабочих для завода? – искренне изумилась Вера Алексеевна. Муж начал краснеть...

– Двадцать девять, кажется, по последней ревизии было... да я и не знаю толком, это все папашины затеи. Ты не хочешь ли пойти поглядеть деревню? Очень, очень славные здесь места!

Деревня, в дюжину дворов, и вправду оказалась хороша – небогата, зато опрятна и весела. Раскрытых крыш не было вовсе, только в одной крайней избе матица была подперта рогулькой. Мужики, бабы и ребята смотрели и кланялись бойко, с улыбкой, девчонка гнала гусей через дорогу, где-то стучали молотком. Артамону вдруг пришло что-то в голову – он крикнул гусятнице:

– Скажи, умница, а Евграфова Агафья жива еще?

– Жива, барин, вон ее изба.

– Кто эта Агафья? – спросила Вера Алексеевна.

– Только ты не смейся. Это моя старая нянька. Вдруг захотелось ее повидать...

Изба была небольшая пятистенка, с покосившимся плетнем. На дворе две женщины – босая старуха и с нею немолодая баба в синей юбке – несли в сени кадь с водой. За ними, переступая раскоряченными ножками, ковылял крошечный мальчик в ситцевой рубашке.

Артамон, не выпуская руку жены, вошел во двор, поднялся на щелястое крыльцо.

– Травой пахнет... медуницей, – шепотом проговорил он. – Чуешь? Сладко. Мы в походе этак ночевали – спишь на сене, а цветами пахнет, аж голова кругом.

– Ну давай уж зайдем, раз пришли, – с улыбкой сказала Вера Алексеевна.

Муж толкнул дверь и шагнул в сенцы первым, пригнувшись, чтоб не стукнуться лбом о притолоку. Вера Алексеевна последовала за ним. Распрямившись и почти коснувшись головой ската крыши, Артамон обернулся к ней и пошутил:

– Кавалергарды высоки – подпирают потолки.

В шестиаршинной горнице никого не было, кроме старухи, бабы в синей юбке, мальчишки и девочки лет восьми. Старуха, сощурившись, посмотрела на вошедших и хрипло сказала:

– Хтой-га приехал, не узнать.

– Как не узнать, молодой барин.

Баба поклонилась, заставила поклониться и девочку, хотела подойти к ручке – Артамон сердито сказал: «Не надо, я этого не люблю».

– А ты, кажется, Арина? Видишь, – он обернулся к жене, – я хороший хозяин, всех своих крестьян знаю. Арина, а муж Егорка. Я помню, как тебя выдавали... он ведь пьяница был, папаша подумал – женить его, так, может, образумится. Помнишь, Арина, как ты за Егорку не хотела?

– Что же, глупая была, – спокойно отвечала Арина.

– Не пьет теперь?

– Слава Богу, сократился. Пьет, да меру знает. Овец вот завели.

Во время этого хозяйственного разговора Артамон поглядывал на Веру Алексеевну – видит ли она, какой он рачительный барин.

– У бабки память больно худа стала, хоть кочны клады, и те проваливаются. Чего утресь делала, и того путем не помнит, стара, – словно извиняясь за старуху, нараспев продолжала Арина.

– Как стара? Да не старей же папеньки.

– Куда как старее, батюшка, люди бают, уж восимисит есть.

– А все работает, – заметила Вера Алексеевна.

– Как же без того, барыня-матушка, на том держимся, – отвечала Арина, слегка кланяясь на каждом слове и утирая губы ладонью. Она явно гордилась своим умением поговорить с господами.

Агафья во время разговора стояла неподвижно, все так же сощурившись, словно силилась сама припомнить, кто же эти нарядные гости.

Артамон подошел к ней.

– Испужалась бабка, – сказала из-за спины Арина.

– Узнаешь меня, Агафья?

– Где там, барин.

– Ты меня совсем забыла... Я, это верно, давно тебя не видал, как учиться уехал, до войны еще. Помнишь молодого барина, которого ты нянчила? А брата моего? А Катиньку? Неужто всех запамятовала?

Агафья с сомнением взглянула на него.

– Тёмушка махонький был... а ты, батюшка, эвон косяк мне высадишь.

– Так я и был махонький... диво ли? Двадцать лет прошло. Тебе еще маменька кокошник с бисером подарила.

– Здесь кокошник-то, – спохватилась Арина. – Достань, Наська... может, вспомнит.

– Не трогай руками-то, замараешь, – строго сказала Агафья.

Артамон засмеялся:

– Надо же, молодого барина не помнит, а кокошник помнит. А какие сказки она мне рассказывала, Веринька... заслушаешься.

– Сказки она и теперича рассказывать мастерица, – похвалилась Арина.

Старуха продолжала смотреть внимательно и неподвижно... Казалось, она наконец разглядела в незнакомом рослом молодце махонького Тёмушку, которого когда-то купала в корыте, но ни словом не выдала своих воспоминаний, только улыбнулась и покачала головой, подперев ладонью щеку. «Тёма», – подумала Вера Алексеевна. Она еще робела, наедине обращаясь к мужу по имени, и не успела придумать ему никакого ласкового домашнего прозвища. «Артамон» звучало серьезно и даже строго, «Артюша» как-то слишком запросто, а Артемоном звала брата Катинька...

Вечером, после чаю, Артамон показывал Вере Алексеевне сад. Сад был большой, но запущенный, с двумя расчищенными дорожками, одна из которых вела в малинник, а другая к оранжерее. В приличном состоянии поддерживались всего несколько клумб, ближайших к дому, а остальным давно было предоставлено зарастать как вздумается. В саду густо стояли

старые яблони и груши, кривые, наклонившиеся к земле, с растрескавшимися стволами, но все живые – только иногда попадались сухие сучья.

– Говорят, этим яблоням по сто лет, – сказал Артамон. – Всякий год яблочек девать некуда, редко когда неурожай. Папаша в дорогу варенья надаёт и пастилы, я страсть люблю... Погоди, я тебе ещё что покажу.

Вера Алексеевна с удивлением заметила несколько небольших, но старательно устроенных грядок.

– Это у меня медицинский садик, – похвалился Артамон. – Велел развести и ухаживать, как по книжке. Сейчас я тебе, Веринька, французской лаванды сорву. Садовник у папаши умница, а все бьётся без толку – вымерзает, приходится в оранжерее держать. А во Франции этой самой лаванды – целые поля. Едешь, бывало, и вдруг как озеро перед тобой откроется. Там не то что духи или мыло, даже конфеты из нее делают, ей-богу.

Он принес Вере Алексеевне небольшой пучок серебристо-зеленых пахучих стеблей и принялся придирчиво обзирать свой садик.

– Умница умницей, а полоть забывает. Ах, Господи!.. Папаша дразнит – говорит, в лекари подался, прошлым летом стадо в сад полезло, истоптали всё. Садовнику насилу втолковал, зачем оно надо, когда оно не цветы и не ягоды...

– А если бы не пошел в военную службу, стал бы лекарем?

– Как же я мог не пойти? – с искренним удивлением спросил Артамон. – Но, знаешь, военному человеку медицина тоже полезна, хотя бы и для товарищей. Тот в походе захворает, другого, гляди, ранят...

Он велел принести для Веры Алексеевны кресло и подушку, а для себя старый картуз, чтоб волосы не лезли в глаза, и сам принялся за работу.

– Ах, разбойники, что делают. Надо срезать, а они ее как морковку дергают. Невежество... Пропала к черту грядка! А вот это, между прочим, *Verbena officinalis*, рекомендую.

– Ты нас прямо-таки знакомишь. А почему *officinalis*?

– *Officinalis*, ангельчик. А римляне ее называли цветком Венеры и Марса.

Сидя на корточках на краю грядки и дергая сорняки, он называл Вере Алексеевне растения, и странно было наблюдать, как его большие руки с осторожностью двигались вокруг стеблей. Устройством своего садика он занимался любовно и всерьез. Об этом увлечении мужа Вера Алексеевна уже знала, но теперь убедилось, что оно далеко не поверхностно.

– Так что, ангельчик, если будет мигрень или простуда, я уж знаю, что надо. А ты чудо как хороша с этой лавандой, прямо портрет писать.

– Ты тоже, – с улыбкой сказала Вера Алексеевна.

– Да уж точно в сказке – «вижу, хорош, ишь как черти-то выкатили». Картуз набоку и физиономия в земле. В полку животики бы надорвали – ротмистр Муравьев грядку копает, – и сам покатился со смеху, вообразив эту картину.

«Тёма», – мысленно позвала Вера Алексеевна и загадала про себя, обернется или нет.

## Глава 11

1820 год – третий год их жизни в Петербурге – выдался беспокойным. Вера Алексеевна, несомненно уже, носила ребенка; ей бывало нехорошо, и больше всех волновался Артамон, стоило той оступиться или неловко повернуться. Будь его воля, он бы вообще запретил жене вставать, но Вера Алексеевна твердо поставила на своем: она не больна, в постельном режиме не нуждается и намерена вести привычный образ жизни до тех пор, пока будет в силах. Удручало Веру Алексеевну только то, что нельзя было гулять за городом, на просторе – езда по мостовой, даже самой гладкой, отзывалась мучительной болью в спине. Приходилось довольствоваться прогулками по набережной. Проходя порой мимо решетки Таврического сада, Вера Алексеевна жалела, что не может побывать внутри. Гранитная Воскресенская набережная, как ни странно, казалась ей куда невзрачнее вологодской. Вера Алексеевна спросила однажды мужа, не думает ли он о переводе в армию, куда-нибудь в провинцию. Ответом был удивленный взгляд, словно она сказала ни с чем не сообразную глупость.

Артамону нравилось в Петербурге, во всяком случае еще не успело наскучить после пятилетних скитаний. За обустройство собственного дома он взялся всерьез и ревностно, невзирая на то, что денег вечно не хватало от жалованья до жалованья. Артамон с удивительной легкостью растрчивал и раздавал все до рубля – стоило только попросить, и отказу не было никому. Когда приходил счет от портного или от булочника, и речи не шло о том, чтобы наконец расплатиться. Артамон немедленно придумывал, что бы купить еще, и приказывал приписать к счету «до круглой цифры». Вера Алексеевна по целым неделям не держала в руках наличных денег и, краснея от смущения, принуждена была набирать по лавкам в долг, чтобы подать обед и починить платье. Над канкринским семейством тем временем сгустились тучи: Егор Францевич подал в отставку, и поток благоденствий от Катишь заметно сократился. Катерина Захаровна со слезами жаловалась кухне, что Егор Францевич был вынужден просить вспомоществования от казны – ведь в столице жить так дорого! Вера Алексеевна верила и не верила: про богатство Канкринина ходили самые невероятные слухи.

В свое время не обошлась без слухов и скоропалительная женитьба Артамона, хоть и отмеченная благосклонностью государя. Дамы сплетничали, что спешное сватовство после трехмесячного знакомства и скромная, почти тайная церемония были вызваны самой что ни на есть насущной необходимостью «прикрыть грех». Однако же через полгода эти сплетни волей-неволей стихли. Вера Алексеевна исправно, по необходимости, хоть и без особого рвения, бывала в это время в свете, позволяя болтунам убедиться, что никакого недомогания она не испытывает. Мужчины, в свою очередь, уверяли, что Горяиновы, отчаянно желавшие сбыть с рук дочь – старую деву и почти бесприданницу, – пустили в ход всевозможные уловки и поставили простодушного Артамона в положение, из которого ему не удалось бы выкрутиться, не скомпрометировав девицу. Если иной молодец понахальнее сумел бы вовремя пойти на попятный, то Артамону Муравьеву ничего не оставалось, кроме как жениться...

Впрочем, сплетники старались, чтоб эти пересуды не дошли до Артамона: чего доброго, он прислал бы вызов. Только Катишь, пользуясь своей безнаказанностью, время от времени позволяла себе отпускать откровенные шпильки, чем доводила брата до едва сдерживаемого бешенства. Однако в столице впечатления сменяются быстро – вскоре обстоятельства женитьбы ротмистра Муравьева 1-го утратили очарование новизны, а там и забылись.

Невзирая на все тревоги, Артамон старался окружить жену особой нежностью и заботой. Пережитое год назад потрясение сказалось на нем всерьез. Он оставался по-прежнему порывист и вспыльчив, но уже заметно сдерживался и не упускал случая похвалить себя, если ему удавалось переломить свой «ндрав» и окончить дело миром. «Вот я уже и исправляюсь», – со смехом говорил Артамон. Он словно переживал юность, вернувшись во времена игры в

республику Чока, когда так весело и приятно было бороться с собой, преодолевать, жертвовать... Узнав о беременности Веры Алексеевны, он необыкновенно обрадовался и немедленно известил сестру и отца. Золовка, сама носившая первенца, засыпала Веру Алексеевну и брата бездельцами собственного изготовления, без конца умиляясь тому, что их дети будут играть вместе. От свекра пришло ласковое письмо. Веру Алексеевну, однако ж, ожидало некоторое разочарование: старик требовал, чтобы, если родится мальчик, его непременно назвали Никитой – по двоюродному деду, сенатору Никите Артамоновичу Муравьеву. Выбор имени для дочери Захар Матвеевич, впрочем, любезно оставил на усмотрение молодых.

– Если будет девочка, назови ее, как сама хочешь, – великодушно предложил Артамон.

Вера Алексеевна взглянула на него...

– Елизаветой, – сказала она.

Он радостно вздохнул.

– По маменьке покойнице? Веринька, ангельчик...

В конце января Сергей Горяинов был произведен в штабротмистры. В честь этого холостая молодежь и те из офицеров постарше, кто чувствовал себя ничем не обремененным, решили ехать вечером развлекаться – «устроить ночку», как выразился молодой Анненков. Ночка, видимо, удалась – на следующий день в манеже Артамон признал, что такого количества сонных и вялых физиономий не наблюдал уже давно.

– Смотрите из седел-то не выпадите! – ворчал он. – Нагулялись вчера – теперь коленями глаза подpiraете...

Молодежь – корнеты и поручики – на ворчание ротмистра Муравьева отвечала затаенными улыбками, но все-таки подтягивалась. За глаза они привычно обменивались шуточками в адрес эскадронного командира, который рано отказался от компанейских походов и прочих радостей жизни, кроме самых обязательных. Юный Анненков уверял, что Артамону Захаровичу не доставало только теплого халата на вате, чтоб окончательно «заматереть» и сделаться домоседом. От того, чтобы преподнести командиру в подарок упомянутый халат с днем ангела, эскадронный молодняк удерживала, пожалуй, только боязнь крупного скандала. В том, что ротмистр Муравьев вполне способен постоять за себя и не потерпит насмешек, не сомневался никто. Да, кроме того, никто и не желал с ним ссориться всерьез: Артамона в гвардии искренне любили, хоть и поддразнивали «немцем». Педантичность, по заверению товарищей, у него была типически немецкая. Артамон на службе явно подражал великому родичу – сумрачному и не склонному ни к какой приветливости Барклаю.

К нему подъехал ротмистр Рагден.

– Молчат орлы? – спросил он, кивком указывая на проезжавшего мимо поручика Ланского. – Тебе еще не сказали? Готовься, будет взыск. Знаешь, что они вытворили вчера, когда Сереженьку обмывали?

– Могу себе представить.

– Нет, не можешь. Завалились они в маскарад – личики занавесили, само собой, а Арапов там возьми и наговори дерзостей какой-то даме в домино. Потом отошел, да не утерпел, поймал одного франта за пуговицу и говорит: «Поди к той барыне – так и сказал: барыня – и передай ей, что она дура деревенская». Тут еще какой-то ввязался, должно быть муж, такой вышел скандал, что уходить пришлось. Арапова взяло за живое – дождемся, говорит, разезда. Те вышли, сели в санки, а наши следом... на повороте обогнали, хотели только попугать, да неловко как-то подвернулись – вывалили их в канаву.

– И что?

– А то, что – знаешь, кто это был?.. – И Рагден шепнул имя Артамону на ухо. – Муженек ее трюхнулся об тумбу, лежит сейчас чуть живой и стонет, государю уже обо всем доложено, и будет баня. Как бы нашим молодцам не пришлось – пулю в зубы и на Кавказ. Вот Сереже подарочек-то выйдет, с производством.

Вечером у Артамона собралась обычная компания из полудюжины ротмистров и поручиков, в том числе виновник переполоха Арапов. Из старших пришли полковники Шереметев и Башмаков. Положив конец всем пересудам, в одиннадцатом часу явился Сергей Горяинов – улыбающийся, довольный, хотя и несколько сконфуженный.

– Ну, братцы, кричите ура, – сказал он, входя. – Минула гроза! Все очень хорошо вышло. Я сегодня, быв в карауле, виделся с государем, просил дозволения говорить с ним... и дозволение по-лу-чил! – на радостях он звонко шелкнул пальцем по колпаку лампы.

– О чем говорить? – беспокойно спросил Артамон.

– О том, что мы учинили давеча.

– И что же?

– Государь изволил сказать, что всё прекрасно понимает – это был неразумный поступок молодых людей, которые понятия не имели, какие последствия могли из сего произойти. Он вовсе даже и не сердится теперь.

– То есть ты взял и выдал всю компанию?

– Зачем же? Я имен не называл. Сказал только, что нас было несколько человек, и я в том числе. Ты сам видишь – я даже взял на себя, вместо Арапова, некоторым образом.

– Гм... премного благодарен. Кто тебя просил?

– Это в каком же смысле понимать? – обиделся Горяинов. – Я вас всех выручил, а вы ругаетесь... хороша благодарность.

– Кавалергарды каяться не ходят!

– Ну и глупо было бы ехать на Кавказ из-за дурацкой выходки.

– Так бы сразу и сказал, что испугался.

– И вовсе не испугался! – резко ответил Горяинов.

– Все равно, лезть первым, куда не спросили – это даже неприлично, если хочешь знать.

– Я свои чины не в канаве подобрал.

– А я за них четыре кампании прошел! – крикнул Башмаков. – Не вскакивать на глаза прежде спросу и всякое дело решать сообща – вот как у нас испокон водилось, ежели вы, ротмистр, о том забыли. Вместе виноваты были – вместе и просили бы государя, когда пришлось, а то, что вы сделали, вовсе никуда не годится. Выскочили храбрецом и благодетелем, нечего сказать!

Сергей Горяинов хлопнул дверью... Офицеры посидели молча. Наконец Шереметев поднялся и решительно сказал:

– Вот что. Я сейчас разошлю с записками к остальным, жду всех у меня через час.

Через час в квартире полковника Шереметева было набито битком. Решено было: господину Горяинову дать понять, что общество офицеров видеть его своим сослуживцем более не желает. После недолгих споров – объявить ли о своем решении лично, и если да, то кого отправить с щекотливым поручением, – порешили писать письмо. Молодежь – особенно Захар Чернышев, Понятовский, Владимир Ланской, Стива Витгенштейн и Анненков – горячилась, требуя личных объяснений с нарушителем славных кавалергардских традиций, но «старики» настояли на своем – непременно письмом, притом в учтивых выражениях.

– Вызвать бы его сюда, и пусть оправдывается, – с досадой говорил Ланской.

– Был бы здесь князь Сергей Григорьич, письмом бы не обошлось, помяните мое слово.

– Князь Сергей Григорьич – да... Вот уж на ком всякий взыск обрывался.

– «...недовольно вашим поведением и, с прискорбием видя, что вы пренебрегаете принятыми в нашем обществе обычаями, желает предупредить, что остальным впредь служить с вами вместе невозможно...»

– *Désagréable*<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Неприятно (*фр.*).

– А ежели он не поймет намека и не пожелает? Вот будет номер.

– Выкурим.

– Я его вызову тогда. Пусть попробует...

– «Мы не сомневаемся, что ваши способности найдут себе применение в армии или же буде вы вздумаете поступить в адъютанты...»

Полковник подписался первым. Отложив перо, он приказал:

– Подходите по старшинству, господа.

И вдруг, спохватившись, с сомнением оглянулся на Артамона.

– Вы, ротмистр, можете не подписывать... мы все понимаем, что вам, как родственнику, не вполне удобно.

– Полагаю, было бы несправедливым осудить Горяинова за то, что он предал товарищество, а мне то же самое простить, – спокойно ответил Артамон.

Александр Захарович, не сказав ни слова, подписался за ним.

О том, кто понесет письмо Горяинову, тянули жребий (от этого, по общему согласию, братьев Муравьевых решительно уволили, и Артамон даже не стал противиться). Посланцем выпало быть поручику Чернышеву, который принял поручение с восторгом. Корнет Понятовский вызвался составить ему компанию и проводить до квартиры Горяинова.

Офицеры, оставшиеся дожидаться исхода поручения, сами не знали, что из этого выйдет. Может быть, Сергей Горяинов пожелал бы объясниться, может быть, даже покаяться... Первая вспышка гнева прошла, неприязнь успела схлынуть. Те, кто знал Горяинова дольше прочих, сожалели, что дело приняло столь неприятный оборот, хоть и признавали, что едва ли выйдет поправить его, никого не оставив оскорбленным. Слишком много дерзостей было наговорено, и сам Горяинов, хоть и будучи, по общему убеждению, добрым малым, вряд ли согласился бы оставаться в полку, даже если бы удалось покончить миром. Время шло... казалось, Чернышеву давно пора было вернуться. Офицеры гадали, что случилось: они с Горяиновым объясняются? пьют мировую? может быть, заряжают пистолеты?

О случившемся стало известно из довольно сумбурного рассказа корнета Понятовского. Оказалось, что Захар Чернышев, бог весть для чего, вздумал переписать письмо своей рукой и вручить Горяинову как бы от своего имени, не прикладывая к нему подписей прочих офицеров. Он рассчитывал якобы, что Горяинов узнает наверняка его почерк. Однако же вышел досадный конфуз: Горяинов то ли не узнал руку Чернышева, то ли не пожелал узнавать и осыпал посланца оскорблениями, пригрозив напоследок, что непременно отыщет автора и покажет, как писать к нему анонимные письма. Чернышев вспылал... Вскричав, что у него не было ни малейшего желания отрицать свое участие, он объявил, что письмо составлено им. Горяинов продолжал браниться – и Чернышев, которому не оставалось другого выбора, предложил разрешить спор дуэлью. Секундантом молодого графа должен был стать корнет Понятовский.

На следующий день в манеже офицеры избегали Горяинова: общим мнением решено было, что до исхода дуэли приличней будет воздерживаться от общения. Справедливости ради, Чернышев потребовал, чтобы не разговаривали и с ним. Полковник, весьма раздосадованный своевольством поручика в истории с письмом, охотно дал согласие; прочим ничего не оставалось, кроме как подчиниться.

Горяинов сам, улучив минуту, подъехал к Артамону.

– И ты подписал? – спросил он, глядя в сторону.

– И я.

– Мерсі, родич, удосужил.

– Не знаю, право, чего ты ожидал, – холодно ответил Артамон. – Однако не будем разговаривать – неловко, на нас уж смотрят.

Дуэль должна была состояться наутро на Каменном острове; в ту ночь не спал никто. Горяинов отказался выбрать себе секунданта среди сослуживцев, и чаша сочувствия оконча-

тельно качнулась в сторону Захара Чернышева. «Горяинов нос дерет!» – таково было общее суждение. Офицеры спорили, с кем он явится на место – будет это военный, или штатский, или, может быть, кто-нибудь из братьев. Однако в глубокой ночи прибежал перепуганный чернышевский денщик с известием, что «барина» арестовали. Немного времени прошло, прежде чем передали, что взят и Понятовский. Несколько человек бросились на квартиру к Горяинову, застучали в дверь – оказалось, что он дома, цел и невредим. Горяинов ответил грубо и отказался отпираться.

К утру не сомневался уже никто: Чернышев и Понятовский арестованы из-за того, что начальству стало известно о готовящейся дуэли, и донес не кто иной как Сергей Горяинов.

Дело, впрочем, разрешилось относительно благополучно. Государь император, поначалу твердо вознамерившийся предать Чернышева суду, за три дня получил массу сочувственных прошений. Он соблаговолил лично побеседовать с поручиком и составил о нем самое лучшее мнение. Особенно же его растрогало, что молодой граф ранее срока возвратился под арест из отпуска, дозволенного ему для свидания с больной матерью. Для Чернышева и Понятовского кончилось тем, что было велено обойти их производством. Сергей Горяинов был переведен майором в армию, в Черниговский конно-егерский полк.

Из Петербурга он уехал, не простившись с сестрой и с зятем.

Однако же треволения двадцатого года тем не закончились. В марте поручик Владимир Ланской вызвал своего сослуживца, корнета Анненкова, который на бале преследовал его жену дерзкими ухаживаниями. Слухи ходили разные: одни заверяли, что Ланской сочтет себя удовлетворенным, формально соблюдая требования, другие ручались, что он будет драться насмерть. Девятнадцатого марта состоялась дуэль; Ланской поднял пистолет и выстрелил в воздух. Противник долго целился – и нанес поручику смертельную рану, от которой тот скончался на руках врача. Анненков, любимец государя и сын известной московской богачки, прозванной «королевой Голконды», отделался легко, получив три месяца гауптвахты. Говорили, что у него случилась нервическая горячка, во сне и в бреду ему являлся призрак убитого. Так или иначе, из-под ареста весельчак Жанно вышел заметно побледневшим и осунувшимся. Генерал-майор Каблуков, впрочем, не снизойдя к душевной чувствительности своих подчиненных, устроил им громадный разнос. Он решительно утверждал, что две «домашних» дуэли за два месяца – *c'est assez!*<sup>26</sup>

Поговаривали, что сам он получил высочайшее внушение, и далеко не в отеческом духе.

– Эти шальные дуэли, господа, у меня вот где, – заключил Каблуков, проводя ребром ладони по горлу. – Хоть бы уж за серьезное дело стрелялись, а то так, за пару перчаток. Это, Муравьев, всё такие, как ваш кузен Лунин, моду завели. Двадцать лет назад и в помине не было своих же товарищей дырывать! Оно конечно, Михаил Сергеич умнейший, достойнейший человек, но все-таки, извините меня, изрядный циник...

Генерал-майор взглянул на Артамона и добавил:

– Вы не обижайтесь, а то глядите так, словно сами вот-вот польхнете.

Артамон чуть заметно пожал плечами. Кто-то из молодых, стоявших назади, шепнул с улыбкой соседу:

– Лунин, говорят, считает необходимым иметь столько же дуэлей, сколько женщин. Когда одна цифра убегает вперед, он тотчас и другую подгоняет.

На молодежь сердито шикнули.

– Совестно, господа! – продолжал Каблуков. – Мне из-за вас пехтурой в нос тычут... государь император изволил сказать, чтоб брали пример с семеновских офицеров. Не то что дуэлей у них в помине нет, но даже табаку не курят. Ангелы небесные, а не офицеры!

<sup>26</sup> Этого достаточно (*фр.*).

Кавалергарды, почитавшие «шалые дуэли» своей привилегией, расходились от генерал-майора обиженные. Семеновских офицеров они недолюбливали, и семеновцы охотно платили им той же монетой.

– Подумаешь, табуку не курят, – ворчал Арапов. – По мне, пускай хоть сугубую аллилуйю поют. Ланского жалко, конечно, а Горяинова правильно мы поперли, я это и под присягой скажу.

Лето принесло Артамону дополнительные волнения. С середины мая начинались лагерные сборы под Красным Селом; Вера Алексеевна, по ее расчетам, должна была родить в августе. Как ни хотелось Артамону провести последние недели с женой, это было невозможно. Сначала думали нанять на лето дачу в окрестностях Красного Села, но по здравом размышлении Артамон признал, что, в случае необходимости, достать за городом хорошего врача будет весьма затруднительно. Решили пригласить на это время из Москвы Матрену Ивановну, чтобы не оставлять Веру без женского присмотра – в самом деле, не покидать же ее было на руках у Насти и Софьюшки.

Если у Артамона и был повод радоваться отъезду в лагерь, то исключительно потому, что маневры избавляли его от необходимости жить два или три месяца бок о бок с тещей. Они успели обменяться несколькими любезными письмами, и вообще Матрена Ивановна, казалось, сменила гнев на милость, убедившись, что ее дочь более не глядит в гроб. Но Артамон все еще не мог понять, как вести себя с нею, то ли как почтительный зять, то ли как блудный сын.

Из-за непрерывных тревог, не только служебных, но и семейных, лагерная жизнь утратила для него значительную долю своей прелести. Отъезжая, он наказал писать ему каждый день хоть по два слова и совершенно измучился. У товарищей даже не доставало духу над ним подшучивать – Артамон побледнел, подурнел, ходил как тень и каждый вечер, засыпая, думал только об одном: «Господи, хоть бы кончилось скорее». Записки от Веры Алексеевны, иногда с приписками от маменьки, приходили ласковые и обнадеживающие. Она чувствовала себя хорошо, и были все надежды на благополучное разрешение.

Первые маневры четырнадцатого июля прошли успешно, полк удостоился похвалы его величества. В тот же день пришел приказ о производстве Артамона Муравьева в полковники. Впереди предстояли бригадные и дивизионные учения. Офицеры с некоторым трепетом говорили о новых выдумках начальства, в том числе о полевом галопе с искусственными препятствиями. По слухам, версту предстояло проходить за две минуты с половиной, держась трем всадникам в ряд, под угрозой гауптвахты... Экзерциции день за днем шли монотонные, без особого разнообразия, июль сменился августом, и вечерами в офицерских балаганах долго гудели голоса – всем уже не терпелось обратно в Петербург. Валяясь на покрытом плащами сене, гадали о предстоящем сезоне; рассуждали, где будут самые веселые вечера; заверяли, что при атаке рысью никак невозможно всем враз остановиться ровно в ста шагах от линии противника, и прочее и прочее.

– Надел я ранец, чтоб бутылки ставить, полез, иду по карнизу, – неторопливо повествовал ротмистр Львов. – Добрался до ставен, стал переходить – а в ставнях посередине глазок проделан, вроде сердечка. Ночь ясная была, луна прямо напротив окон стояла и, должно, в глазок светила. Старый черт, полагаю, не спал – а может быть, от голосов проснулся. И тут, вообразите, чья-то фигура ему заслоняет глазок в окне. Вскочил он, кричит: «Ратуйте, ратуйте, злодшие!» – да как толкнет ставни наружу! Я ухватился, повис на руках... Прыгать страшно, а висеть еще страшнее. Болтаю ногами, а до карниза не достаю. Старик вопит, ставень подаваться начал... беда! Товарищи мои снизу кричат: «Прыгай, мы подхватим». Думаю, явятся сейчас сторожа, а я вишу на ставне, что дурак. Ну, прыгнул... и пустились мы бежать. Влезли в самый цветник, переломали кусты, оборвались в кровь, но все-таки утекли.

Товарищи хохотали... В разгар веселья Артамону передали записку. Он развернул ее – и побелел как полотно. Рукой Матрены Ивановны, видимо в страшной спешке, было нацарапано:

«Вера разрешается молись». Сунув записку за обшлаг, он полез по чужим ногам к выходу. За спиной притихли, заговорили вполголоса... У коновязи его догнал брат.

– Ты что? Куда?

– В город надо.

Александр Захарович решительно вынул повод у него из рук.

– Никуда ты на ночь глядя не поедешь, еще шею сломишь или, вероятнее всего, на первой рогатке скандал сделаешь. Завтра съездишь и вернешься, мы тебя прикроем, благо суббота. Пойдем обратно...

Артамон вдруг представил себе шуточки и улыбки сослуживцев в балагане и остановился как вкопанный.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.